

Australian Slavonic and East European Studies

(Formerly *Melbourne Slavonic Studies*)

Journal of the
Australasian Association for
Euro-Asian Studies (AAEAS)

Volume 40

2026

Australian Slavonic and East European Studies

Editor:	A/P Robert Lagerberg, University of Melbourne
Deputy Editor:	Professor Stefan Auer, University of Hong Kong
Reviews Editor:	Dr John Cook, University of Melbourne
Editorial Board	A/P Judith Armstrong, University of Melbourne
	Dr John Cook, University of Melbourne
	Professor Tomasz Drabowicz, University of Lodz
	A/P Julie Fedor, University of Melbourne
	A/P Marika Kalyuga, Macquarie University
	Dr Lyndall Morgan, University of Queensland
	Professor Marko Pavlyshyn, Monash University
	Dr Alexandra Smith, University of Edinburgh
	Professor Ludmila Stern, University of New South Wales
	Dr David N. Wells, Curtin University
	Professor Kevin Windle, Australian National University

ASEES is a refereed journal which publishes scholarly articles, review articles and short reviews on all aspects of Slavonic and East European Studies, in particular language, literature and culture. Articles should have a maximum length of 8,500 words and review articles 4,000; they should be submitted to the editor electronically, preferably in .doc (Microsoft Word) format. All articles submitted for consideration should conform to the style guidelines set out in the *ASEES* web page.

ASEES replaces *Melbourne Slavonic Studies*, founded in 1967 by the late Nina Christesen, which ceased publication with Volume 19, 1985.

Back issues of most volumes are available for A\$20.00 per issue plus GST.

Recent volumes of *ASEES* are available online at:

<http://arts.unimelb.edu.au/soll/research/research-publications/european-studies/asees-journal> and <http://miskinhill.com.au/journals/asees/>

ASEES is published once per year and is available at no cost as a PDF file at <http://arts.unimelb.edu.au/soll/research/research-publications/european-studies/asees-journal>

ISSN-0818 8149

Published by the School of Languages and Linguistics,
The University of Melbourne, Australia.

Telephone: +61 3 8354 5187

E-mail: robertjl@unimelb.edu.au

Web: <http://arts.unimelb.edu.au/soll/research/research-publications/european-studies/asees-journal>

ASEES © The Publishers and each contributor, 2026

We are currently accepting articles for Volume 41 (2027). An electronic copy (in Microsoft Word format) should be sent to the editor by the 31st of July 2027. Papers received after this time will not be considered for publication in Volume 41. *ASEES* Volume 41 (2027) will appear towards the end of 2027.

AAEAS

Office-bearers of the Australasian Association for Euro-Asian Studies are:

President: Dr Milenko Petrovic (University of Canterbury)

Vice-President: Dr Evgeny Pavlov (University of Canterbury)

Treasurer: Associate Professor Alexandr Akimov (Griffith University)

Secretary: Dr Nina Markovic Khaze (Macquarie University)

Information Officer: Ms Gulshat Rozyyeva (Australian National University)

CONTENTS

ARTICLES

JOLANTA BRZYKCY

- По обе стороны железного занавеса: о лирической полемике
Гизеллы Лахман с Анной Ахматовой 1

TATYANA SMYKOVSKAYA

- Литературный журнал Байкало-Амурского ИТЛ
«Путеармеец» как один из ключевых источников по
изучению официальной литературы ГУЛАГа 35

RENÁTA GREGOVÁ

- Sound Symbolism and Phonaesthemes in Slovak:
Methodological Approaches to Analysis 67

KARINA STEMPEL-GANCARCZYK

- Linguistic Purism in Podhale (Poland) 85

KEVIN WINDLE

- ‘Into the unknown.’ Australia in 1909-1921: a Polish view.
Excerpts from Piotr Modrak’s *W krainie kangura* (‘In the Land
of the Kangaroo’) 107

REVIEWS

Serhii Plokhy, <i>David and Goliath: Commentaries on the Russo-Ukrainian War</i> (Iryna Skubii)	135
Nathan Cohen, <i>Yiddish Transformed: Reading Habits in the Russian Empire, 1860-1914</i> (John Cook)	138
Serhii Bilenky, <i>Laboratory of Modernity: Ukraine between Empire and Nation, 1772-1914</i> (Daria Mattingly)	141
Didier Dupuy & Volodymyr Dubichynskyi, <i>Русско-французские лексические параллели. Теоретическое обоснование и словарь</i> (Michał Kozdra)	148
Natalia Romik, <i>Architecture of Memory: Exploring (Post-) Jewish Spaces in Eastern Europe</i> (John Cook)	154
Leo Tolstoy, <i>Writings for Young Children</i> (Natalia Batova)	159

OBITUARIES

In Memoriam: Margaret Travers	163
Notes on Contributors	169

JOLANTA BRZYKCY

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА: О ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКЕ

ГИЗЕЛЛЫ ЛАХМАН С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Abstract: In this paper I attempt a comparative analysis of two poems: *Homeland* (*Родная земля*, 1961) by Anna Akhmatova and *We do not write poems about her, weeping loudly...* (*О ней стихи навзрыд не сочиняем...*, 1963) by Gisella Lakhman, the Russian ‘first wave’ émigré poet. Akhmatova’s poem, written five years before her death, closes the thread of her lyrical reflections on emigration, which was already initiated in her works *I heard a voice, within me, call...* (*Мне голос был. Он звал утешно...*, 1917) and *I’m not one of those who left their land* (*Не с теми я, кто бросил землю...*, 1922). In the analysed text, as in her earlier poems, Akhmatova took a clear anti-emigration position. She accused her compatriots, who had left the country, of betrayal, denied them the right to call Russia their homeland and contrasted them with the attitude of those Russians, who remained in the country and shared its difficult fate.

Lakhman, a little-known representative of poetry of Russian post-revolutionary emigration, spoke in her poem on behalf of herself and the other refugees, rebutted Akhmatova’s attack and considered it unjustified and hurtful to the émigrés. The poet argues that leaving one’s homeland does not exclude love for it.

I consider the polemics between the two poets using the tools of descriptive poetics (their stylistic mannerisms) and in a historical and literary perspective, as a manifestation of the split of Russian literature after 1917 into metropolis and diaspora, an effect of the complex relations between the two currents, entangled in the Soviet political and ideological discourse of the second half of the twentieth century. The

methodological basis for the analysis is the theory of literary communication, according to which poems are examples of communicated expression.

Аннотация: В статье я предпринимаю попытку сравнительного анализа двух стихотворений: *Родная земля* (1961) Анны Ахматовой и *О ней стихи навзрыд не сочиняем...* (1963) Гизеллы Лахман, русской поэтессы-эмигрантки первой волны.

Стихотворение Ахматовой, написанное ею за пять лет до смерти, замыкает нить ее лирических размышлений об эмиграции, начатую еще в произведениях *Мне голос был. Он звал утешно...* (1917) и *Не с теми я, кто бросил землю...* (1922). В анализируемом тексте, как и в названных, предшествующих ему стихотворениях, Ахматова заняла четкую антиэмигрантскую позицию. Она обвинила соотечественников, покинувших страну, в предательстве, отказала им в праве называть Россию своей родиной и противопоставила их тем русским, которые остались в стране и разделили ее тяжелую судьбу.

Лахман, малоизвестная представительница поэзии русской после-революционной эмиграции, выступила в своем стихотворении от имени себя и других беженцев, опровергла обвинения Ахматовой, посчитав их необоснованными и обидными для эмигрантов. Поэтесса утверждает, что уход с родины не исключает любви к ней.

Полемика поэтесс рассматривается с помощью инструментов описательной поэтики (исследуются их стилистические манеры) и в историко-литературной перспективе, как проявление раскола русской литературы после 1917 года на метрополию и диаспору, эффект сложных отношений между двумя течениями, вплетенными в советский политико-идеологический дискурс второй половины XX века. Методологической основой анализа является теория

литературной коммуникации, согласно которой стихотворения представляют собой акты коммуникативного высказывания.

Keywords: Anna Akhmatova, Gisella Lakhman, Russian émigré and Soviet poetry, literary polemics, literary communication

Ключевые слова: Анна Ахматова, Гизелла Лахман, русская эмигрантская и советская поэзия, литературная полемика, литературная коммуникация

Литературная полемика, как форма спора писателей, критиков, исследователей и других участников литературной жизни, как «[...] борьба принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу [...] с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента» (Алиева 2019), всегда являлась естественным и в то же время существенным элементом литературного процесса как такового, мощным фактором, стимулирующим развитие литературы, а также проявлением ее интеллектуального и эстетического потенциала, разнообразия и динамики. Конфронтация, противостояние, противоборство сторон, идей и речей были «[...] везде, где была духовная жизнь; они замирали и оживлялись вместе с последней» (Ар. Г. 1898, 275).¹

¹ Ср. сетования русских критиков по поводу отсутствия полемики в современной русской литературе: Сергей Чупринин несколько лет тому назад утверждал, что в ней «[...] не слишком много, а, ровно наоборот, слишком мало споров» (Чупринин 2007, 419); Борис Дубин был согласен с ним: «Принципиальной полемики я не вижу. Если, конечно, не брать в расчет скандалы, разве только скандалы – это

Обмен откровенными и по возможности аргументированными субъективными оценками это «[...] инструмент для расширения рамок дискуссии, восстановления полноты взглядов, указания на ошибки [...], а иногда и средство защиты от нападок на собственные взгляды – в каждом из этих случаев он [...] демонстрирует свою силу или слабость через проверяемую аргументационную эффективность» (Bielawski 2021).²

С развитием традиционной журналистики, а затем цифровых массмедиа полемика стала также саморекламой, применяемой авторами с целью заявить о себе, оказаться в центре внимания, обусловить и инициировать определенные события (Bijuković-Maršić, Đukić, Alebić 2020).

В силу своей противоречивой природы полемика, «обоюдоопасная, но [...] наиболее эффективная форма диалога между писателями, критиками, читателями» (Чупринин 2007, 419), становилась предметом литературоведческой рефлексии, направленной, с одной стороны, на выявление ее правил, с другой – на установление этических норм, дозволенных и недопустимых в пылу схватки приемов. Назовем к примеру принадлежавшую профессору Киевского университета Николаю Хлебникову попытку кодифицировать «правила честной литературной борьбы» (Хлебников 1897, 279) или шуточное эссе Кареля Чапека *Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям* (*Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka psané polemiky*, 1928), которое было задумано как «[...] краткое руководство, рассчитанное не на участников полемики, а на читателей, чтобы они могли хотя

полемика» (цит. по: Чупринин 2007, 419). Созвучно с ними высказывание Игоря Шайтанова, главного редактора журнала «Вопросы литературы»: «в полемике есть потребность» (Шайтанов 2019).

² Перевод с польского – J.B.

бы приблизительно ориентироваться в приемах полемической борьбы» (Чапек 1959, 19).³

Малоизвестным и в принципе неизученным⁴ эпизодом из длинной и богатой истории поединков русских литераторов являются два стихотворения 1960-х годов, первое из которых – *Родная земля* – принадлежит Анне Ахматовой, второе – *О ней стихи навзрыд не сочиняем...* – было написано в ответ эмигрантской поэтессой первой волны, Гизеллой Лахман. Статус обоих текстов, равно как и самих авторов, неодинаковый: ахматовское стихотворение числится в списке ее наиболее распознаваемых произведений, в России оно включено в школьную программу и входит в литературный канон (Сиднев, Лебедева 1990). Стихотворение Лахман не может претендовать на равную распознаваемость и признание. Как и все литературное наследие этой практически забытой ныне поэтессы, оно находится вне исследовательских и читательских интересов. Лишь в короткий период после публикации оно привлекло внимание как смелое опровержение обвинений великой поэтессы. Взятые вместе, оба произведения предстают как интересный пример расколотости русской литературы после 1917 года, проявление тех сложных взаимоотношений, которые формировались между ее советской и зарубежной ветвями.

³ Оба текста можно рассматривать как относящийся к литературному пространству вариант научных трудов по эристике, в том числе философского трактата *Эристика или искусство спорить* (*Eristische dialektik die kunst recht zu behalten*, 1864) Артура Шопенгауэра, в котором мыслитель описывал методы победы над оппонентом, или многочисленных пособий по теории и технике спора (Поварнин 1918, Родос 1989).

⁴ Об историко-литературных обстоятельствах полемики поэтесс см. Левинг 2006, Тименчик 2014. Оба исследования не захватывают поэтики стихов, их краткий сопоставительный анализ дается в статье: Brzykcy 2023 а.

Задача данной статьи: рассмотреть полемику двух поэтесс, ее цель – выявить внутреннюю поэтику стихотворений и образовавшиеся между ними интеракции, а также – описать тот литературный и внелитературный контексты, в которых они сразу оказались и сквозь которые воспринимались. Это накладывает специфическую интерпретационную рамку, которую определяют совместно, хотя и в неравных пропорциях, металингвистические теории, объединенные концепцией литературного произведения как высказывания, погруженного во вселенную других текстов.

Итак, вслед за Михаилом Бахтиным оба стихотворения толкую как «звенья в цепи речевого общения», которые связаны «[...] не только с предшествующими, но и с последующими звеньями речевого общения», которые «[...] рождаются и формируются в процессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями», к кому-то обращены, имеют и автора, и адресата (Бахтин 1986, 286-290). Имеющиеся в них «диалогические обертоны», «отзвуки и отголоски других высказываний» (Бахтин 1986, 286-287), должны учитываться при анализе, без них нельзя до конца понять стиль и роль обоих текстов. Этот постулат Бахтина крайне важен для интересующих меня стихотворений, поскольку они находятся в поляризованном культурном, социальном и политическом пространстве русской диаспоры и советской метрополии.

Наиболее адекватные инструменты для анализа обоих произведений предоставляет предложенная польскими исследователями теория литературной коммуникации, которая толкует литературное произведение не столько как выражение писательской экспрессии, но прежде всего как акт коммуникации с другими участниками литературной жизни, в котором кристаллизуются определенные взаимоотношения между автором текста и читателем, как проецируемом в самом тексте, так и реальном. Напряжение, которое между

ними возникает, нельзя изучать только на уровне поэтики отдельных произведений, надо его понимать шире – как элемент литературной системы, в которой существенную роль играют внетекстовые, но внутрилитературные, категории отправителя и адресата высказывания, активного и пассивного чтения, стиля рецепции, читательских компетенций и интерпретационного экрана (Окорієн-Ślawińska 1971, Głowiński 1977). Стихотворения Ахматовой и Лахман образуют коммуникативную модель литературного текста, а напряжение между ними – как будет показано в ходе анализа – это не только результат их имманентных признаков, но и определенной историко-литературной системы, в которую они поместились в момент публикации.

Родная земля была написана в 1961 году, за пять лет до смерти Ахматовой, которая пользовалась в это время, несмотря на многолетние преследования советских властей (или: вопреки им), всеобщим признанием читателей и репутацией величайшей русской поэтессы. Текст, вместе с двумя иными: *Мне голос был. Он звал утешно...* 1917 года и *Не с теми я, кто бросил землю...* 1922 года, составляет стержень гражданской лирики Ахматовой,⁵ четким признаком которой принято считать отрицательное отношение к тем,

⁵ К ним примыкает и стихотворение *Мужество* (1942), патриотическое, но лишенное ссылок на белую эмиграцию. Возникшее как отклик поэтессы на нацистское вторжение в Советский Союз, сегодня оно подвергается пропагандистским манипуляциям Кремля: его отрывок «[...] И мы сохраним тебя, русская речь,/ Великое русское слово./ Свободным и чистым тебя пронесем, / И внукам дадим, и от плена спасем/ Навеки.» находится на баннерах, которые с 2008 года устанавливались пропутинской организацией «Русский мир» в российских городах и которые должны были легитимизировать империльную политику РФ по отношению к Северной Осетии, Грузии и Украине. Фраза «великое русское слово» охотно употребляется сторонниками Путина в контексте «борьбы с украинизацией Крыма» и «денацификацией Украины» (см. Сафронова 2022). Интересен в этом контексте анализ стихотворения, данный Анатолием Найманом; исследователь еще в 1989 году переосмыслил значение текста и оспорил его патриотическую плакатность (Найман 1989 а).

кто покинул Россию в результате большевистского переворота и последовавшей за ним гражданской войны. Если в самом раннем из названных стихотворений Ахматова «[...] заявила о своей гражданской позиции ‘равнодушно и спокойно’» (Клоц 2019) и воздержалась от явного осуждения беженцев, фокусируясь на изображении личной борьбы с желанием уехать из России, то в следующем тексте она уже прямо отрекалась от тех, кто «бросил землю на растерзание врагам»:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам [...] (Ахматова 1987, I, 139).

Эмигрантам, представленным рядом стигматизирующих определений («изгнанник», «заключенный», «больной», «странник»), поэтесса противопоставила оставшихся на родине соотечественников, солидаризировалась с ними, воспевала их мужество, любовь к родине и умение жертвовать собой ради нее.⁶ При этом чувство любви к народу и народное горе «[...] совершенно свободны от какой бы то ни было ‘идеологии’» (Найман 1989

⁶ Иначе оба стихотворения толкует поэт и литературовед Дмитрий Бобышев (Бобышев 1991). Обратившись к первоначальному варианту стиха *Мне голос был...*, отброшенному самой Ахматовой и впоследствии очень редко публикуемому, исследователь доказывает, что его антиэмигрантский пафос намного слабее, чем это утверждали «официозные толкователи» Ахматовой. Распространенные интерпретации стиха, воспринимающегося как «яркая инвектива» эмигрантам, он называет идеологической эксплуатацией, направленной на превращение Ахматовой в образцовую советскую поэтессу. В свою очередь декларация Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю/ На растерзание врагам» относится, по Бобышеву, не к эмигрантам, а к большевикам, заключившим в 1918 году Брестский мир с Германией и отдавшим ей значительные территории бывшей Российской империи.

б, 297), они показаны в стихотворении сквозь призму переживаний простой русской женщины (Жирмунский 1973, 47), точнее – матери. Этот сквозной в поэзии Ахматовой образ Анатолий Найман толкует с гендерной точки зрения:

[Ахматова – J.B.] не ‘относится’ к России, а есть как бы сама Россия, как мать не ‘относится’ к семье, а есть сама семья. Отец и муж могут уйти из дома на время, ради семьи, чтобы издалека помогать ей. Но мать не может уйти потому, что без нее нет семьи и нечему помогать. Вот такой матерью и женой, одной из миллионов таких матерей, которым нельзя уйти, и была Ахматова. И тут – проявление всей той же ее женственности, женской любви, которая в каком-то смысле до конца пассивна, есть всецело самоотдача, но которая, вместе с тем, и есть сама сила, сама последняя суть и красота жизни, так что ради нее, по отношению к ней, для ее защиты и для служения ей и существуют все ‘идеологии’ (Найман 1989 б, 297).

Лирический субъект в произведении Ахматовой высказывается от собственного имени и от имени всего народа:

[...] А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

[...] в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас (Ахматова 1987, I, 139).

Примечательна в этом отношении замена глагольных и местоименных форм: единственное число в первых строках («Не с теми я», «им песен я своих не дам», «вечно жалок мне изгнанник») в дальнейших уступает место множественному числу («Мы ни единого удара не отклонили от себя», «в мире нет людей надменнее и проще нас»). Благодаря этому приему интимное сочетается в стихе с общенародным, «[...] исторический фон [...] раздвигает [...] узкую перспективу личного переживания» (Жирмунский 1973, 50). Таким образом в рамках отдельного лирического монолога выразилась трансформация поэтической манеры Ахматовой, которая произошла под влиянием исторических событий (Первой мировой войны и гражданской войны в России) и определила все ее позднейшее творчество.

Родная земля, написанная сорок лет спустя, предстает как продолжение гражданской проблематики, затронутой в ранних стихотворениях. Поэтесса сама указывала на эту связь, взяв две финальные строки одного из них в качестве автоинтертекстуального эпиграфа: «И в мире нет людей бесслезней, / Надменнее и проще нас». Имея за собой опыт Большого Террора, военной эвакуации в Ташкент и травли, начатой в 1946 году постановлением партии *О журналах «Звезда» и «Ленинград»*, поэтесса так и не изменила своего отношения к родине и в дальнейшем отождествлялась с миллионами страдавших от нее сограждан. Выстраивала таким образом тщательно обдуманную легенду поэта-мученика, разделяющего с народом его тяжелую судьбу (Cavanagh 2001, 25). Главная мысль осталась в *Родной земли* неизменной, поменялись лишь средства ее выражения:

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не берedit,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хвораю, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах,

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно – своею (Ахматова 1987, I, 251).

Стихотворение уместно назвать двойным портретом, так как внимание лирического «я», выступающего последовательно во множественном числе и обозначающего советский народ, сосредоточено на нем самом и в то же время на некоем неназванном, но осязаемом «Ином». Ряд глаголов-микрообразов служит автохарактеристикой советских граждан, сквозь которую просвечиваются и беженцы, наделяемые знаком «минус» и вводящие в смысловое пространство стиха разделение на своих и чужих: если «мы» видятся Ахматовой как те, кто не носит родную землю в ладанках на груди, не сочиняет о ней стихи, а просто ложится в нее и зовет ее своею, то «они» подразумеваются как те, кто поступает иначе. Эмигранты, хотя нигде не призваны в прямом апострофическом обращении, присутствуют в стихотворении как виртуальный адресат. Архитектоника произведения основана на приеме намека, смутного указания, эмоционального недоговоренного, который еще в ранней лирике

Ахматовой был замечен Виктором Виноградовым: «Происходит своеобразный эстетический ‘обман’: речь строится с установкой на одно восприятие, на восприятие ‘своих людей’, которым многое понятно с полуслова, но с объективным расчетом: попасть в другое» (Виноградов 1976, 444). Поэтесса, представляя живущих в стране соотечественников, в то же время обращается и к эмигрантам и упрекает их в страдальничестве, позерстве и слезливой ностальгии.

С точки зрения теории литературной коммуникации присущая *Родной земле* недоговоренность является имманентным признаком любого стихотворения как речевого акта: «Любое высказывание ‘говорит’ не только то, что в нем эксплицитно сказано, оно также ‘говорит’, не ‘говоря’ прямо, – посредством содержащихся в нем пресуппозиций [...], содержа и то, что предполагается, тем самым предполагает у реципиента определенный тип коммуникативной компетенции, фактически не ограничивающийся простым, «словарным», знанием значения слов» (Głowiński 1977, 18-19).

В том же 1961 году Ахматовой было создано и стихотворение *Так не зря мы вместе беседовали...*, «финальный аккорд в [ее – J.B.] отношениях с эмиграцией» (Клоц 2019). Его фрагмент стал эпиграфом к поэме *Реквием*:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был (Ахматова 1969, 5).

Публикация *Реквиема* и *Родной земли* совпали по времени: поэма была опубликована в ноябре 1963 года (Струве 1969, 22-23) в мюнхенском издательстве Товарищество Зарубежных Писателей, стихотворение – в первом,

январском номере «Нового мира» 1963 года, который в течение нескольких недель стал доступным русской диаспоре. Таким образом Ахматова нанесла «[...] сразу двойной удар по самосознанию тех, кто в разное время и при разных обстоятельствах оказался ‘под чуждым небосводом’» (Клоц 2019).

Родная земля вызвала немедленные реакции эмигрантов. Одним из первых на стихотворение откликнулся Аркадий Слизской, в номере парижского еженедельника «Русская мысль» от 12 марта 1963 года он писал (в статье *Два рассказа А. Солженицына*):

Если человека отлучить от родной земли, то эта земля перестанет для него быть «грязью на калошах», и он будет носить ее в заветных ладанках, а тот, кому не суждено лечь в родную землю, обычно завещает бросить в его могилу ком родной земли... Возможно, что для людей «бесслезных» это покажется излишней сентиментальностью, но... ведь и у Пушкина есть такие стихи:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

Сейчас об этом знаменитая поэтесса, по-видимому, забыла, но в 1942 году, когда она принуждена была покинуть любимый Петербург и уехать в Ташкент, она думала иначе:

И веселое слово «дома»
Никому теперь не знакомо.
Все в чужое глядят окно,

Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький,
Как отравленное вино.
И жить, и умирать на чужбине нелегко» (цит. по: Тименчик 2014,
I, 310).

Пять дней спустя (и всего несколько недель после публикации стихотворения Ахматовой), в номере нью-йоркского «Нового русского слова» от 17 марта 1963 года, Лахман напечатала свою лирическую реплику, снабдив ее заголовком, не оставляющим сомнений о полемическом характере произведения: *Ответ на стихотворение Анны Ахматовой «Родная земля»*:

«О ней стихи навзрыд не сочиняем»
И в наших снах ее благословляем,
Но в ладанках не носим на груди.
Зачем? Она у нас – в сердцах,
Недосягаемый и драгоценный прах –
Тот, что не ждет нас впереди,
Когда в чужую землю ляжем,
Что нам не мачеха и не родная мать.

(А ваших слов о «Купле и продаже»,
признаться, не могу понять.)
Болея и сгибаясь под тяжелой ношей,
Мы помним хруст в зубах ее песка,
И грязь и снег на маленьких калошах...
Но мать отвергла нас и ныне далека.

А мы, рожденные и вскормленные ею,
Мы смеем звать ее, как вы, – своею. (Лахман)

Парафразируя процитированную выше фразу Якова Клоца, можно сказать, что удар Ахматовой был сразу отбит из двух столиц русского зарубежья, двумя его разными представителями.⁷ Их отклики можно назвать, вслед за Михалом Гловиньским, проявлением симметричного диалога, суть которого лежит в активном, т.е. имевшем своим результатом собственное высказывание, восприятии чужого высказывания (Głowiński 1977, 12). Сработали тут читательские компетенции обоих эмигрантов, однако только Лахман соблюла навязанные Ахматовой правила игры, избрав для своего ответа стихотворную форму.

Для восприятия ее стихотворения существенное значение имела как русская литературная традиция, так литературная культура, выработанная

⁷ Отметим еще высказывание Георгия Адамовича, одного из ведущих критиков русского зарубежья, который в радиопередаче Радио Свобода об Ахматовой, в 1965 году (по другим источникам – в 1970 [Тименчик 2014, II, 434]) говорил по поводу эпиграфу к *Реквиему*: «В самой интонации этой строфы чувствуется гордость, чувствуется вызов. Это очень достойная позиция, я не имею ни малейшего желания, намерения, мысли в чем-либо Ахматову упрекнуть, это позиция, которая достойна всяческого уважения. Но с чем я не могу согласиться? В этом вызове, который в ее интонации чувствуется. Ведь если бы не все те, которые оказались вольно или невольно в эмиграции, то выяснилось бы или оказалось бы, что 50 лет Россия молчала, как молчала Ахматова, или повторяла бы только то, что совпадает с партийной мудростью. Некоторых русских мыслителей правительство советское выслало, другие уехали добровольно. Остались в России только люди, которые могли выражать мысли, совпадающие с партийными указаниями» (Толстой, Гаврилов 2011). Беседовавший с Адамовичем Виктор Франк, корреспондент и обозреватель Радио Свобода, добавлял: «[...] правда была и на той, и на другой стороне. Та самоотверженность, с которой Ахматова и многие другие отказались выехать за границу, заслуживает глубочайшего уважения. Но, конечно, и то, что сделала эмиграция, эти два или полтора поколения – тоже огромная заслуга перед русской культурой. И то, и другое оказалось необходимым» (Толстой, Гаврилов 2011).

русскими эмигрантами первой волны, а также их жизненный и исторический опыт. Определенный интерпретационный экран (Okorpień-Sławińska 1971, 123), через который читался текст Лахман, образовали факторы сугубо литературные: пристрастие к эстетике XIX века, ориентация на Серебряный и золотой век русской литературы, и внелитературные: миссия сохранить «старую» Россию от забвения, неприязнь к СССР и «советчине». Ответ Лахман привлек внимание читателей и критиков как смелое опровержение обвинений Ахматовой, которая иногда оценивалась как поэтесса «советской формации». Примечательны в этом отношении слова Иоанна Шаховского, архиепископа и поэта, публиковавшего стихи под псевдонимом Странник:

[...] во время войны и некое время после нее, Ахматова в своих стихах славословила Сталина и советский строй. В эмиграции отнеслись к этому на редкость терпимо и с подлинным великодушием, объясняя происшедшее тем, что Ахматова хотела таким способом облегчить участь арестованного сына. [...] Надо сказать, что и у меня к Ахматовой в этом смысле отношение не вполне благополучное. Ее славословий Сталину и советским порядкам я, все-таки, с ее «текущего счета» сбросить не могу, как не могу вычеркнуть и того, опубликованного в Н.Р.С. [«Новом Русском Слове» – J.B.] и уже никак не вынужденного стихотворения Ахм. [Ахматовой – J.B.], в котором она назвала эмигрантов продажными душами и на которое ей, на страницах той же газеты и тоже в стихах, хорошо ответила Гизелла Лахман. Мне очень несимпатично в Ахм. [Ахматовой – J.B.] то, сколь она кичится тем, что она осталась в СССР, не «бросила своего народа», «ни единого удара не отстранила от себя» и т.д. Я уверен, что Ахм. [Ахматова – J.B.] осталась в СССР жить случайно, как

остались и многие другие, ибо никто не знал еще тогда, как всё обернется и как умнее поступить. Но никто из оставшихся этим не кичился и не кичится, как это делает Ахматова, которая втайне теперь, может быть, даже и жалеет, что осталась! Как будто тогда уезжали из России на Запад как на пикник, а не как на множество всяких бед! (Странник 1981, 155-156).

Юстина Крузенштерн-Петерец, журналистка, писательница и переводчица, в некрологе Лахман, умершей в 1969 году, счела ее стихотворный ответ Ахматовой актом мужества:

[...] одного стихотворения Гизелла Лахман не любила, в котором Ахматова говорит, что она «руками замкнула слух» лишь бы не слышать «утешного» голоса, звавшего ее оставить Россию «навсегда».

Когда же в 1962 году появилось второе стихотворение «Родной земле», в котором Ахматова бросила упрек всем покинувшим Россию, [...] Гизелла Лахман была глубоко уязвлена. На эти стихи она ответила своими, в которых защищала свою правду. Нужно было, конечно, много мужества, чтобы посметь возразить Ахматовой, но оно у Гизеллы было (Крузенштерн-Петерец 1969).

Как видно, произведение Лахман эмигранты читали также в контексте неодинакового статуса обеих поэтесс в иерархически организованной структуре русской литературы. Ахматова, по меткому определению Марины Цветаевой,⁸

⁸ О теме Цветаевой в поздней поэзии Ахматовой см.: Smith 1996.

царствовала в ней как «златоустая Анна всея Руси», пользовалась признанием как в стране, так и среди эмигрантов, чему не были в состоянии помешать преследования властей и связанная с ними скудость издательских публикаций, равно как и тот факт, что ее гражданская лирика «[...] вызывала наибольшие подозрения, а порой и открытое неприятие в определенных кругах русской эмиграции» (Клоц 2019). Георгий Адамович в статье *Анна Ахматова* 1934 года отметил влияние ее поэтической манеры на формирование русской поэзии по обе стороны границы, а в иной своей работе (*Большой поэт и большой человек*, 1967) назвал поэтессу «самым крупным женским именем в истории русской поэзии», «поэтом национальным, выразителем своей эпохи», равным Александру Блоку (Адамович 1967, 14).

Поэтической манере и стилю ранней Ахматовой (с ее творчеством 1930-х и 1940-х годов эмигранты познакомились только в 1950-е годы) подражали, иногда стремясь их преодолеть и развить, представители «парижской ноты», литературного течения в поэзии русского зарубежья, возникшего в Париже в конце 1920-х гг. и просуществовавшего до конца 1950-х гг. Ее поэтические открытия усваивали, на уровне тематики и стиливых решений, прежде всего Анатолий Штейгер, Лидия Червинская и Ирина Кнорринг. К взятым у Ахматовой признакам их стихотворений принадлежат: «[...] интимизация содержания, диалогизация композиции, лаконизм поэтической формы, пуантировка лирического сюжета, сдержанность изобразительно-выразительных средств ради усиления психологического воздействия и убедительности лирического переживания» (Налегач 2019, 24), а также дневниковость и связанный с ней психологизм, свернутость сюжета, простота разговорных интонаций и стремление выразить собственное переживание через предмет или деталь (Соколова 2010).

Поэтика Ахматовой оказывала тоже сильное воздействие и на женскую поэзию русского зарубежья. Георгий Адамович в 1931 году писал об «общей судьбе всех молодых поэтесс последних пятнадцати лет», которые «[...] объясняются со своими возлюбленными на языке ‘Четок’ и ‘Подорожника’» (цит. по: Соколова 2010, 66). В 1937 году Юрий Терапиано приходил к тому же выводу: «[...] на долгие годы вся женская поэзия была отравлена влиянием Ахматовой, ее колея оказалась настолько глубокой, что никому – подчас очень одаренным поэтессам, не удавалось остаться самой собою» (цит. по: Налегач 2019, 29).

К зарубежной ветви «подахматовок», как подражательниц своей супруги определил в свое время Николай Гумилев (Цзоу, Михайлова 2021, 202), литературные критики причисляли и Лахман, несмотря на ее запоздалый дебют, состоявшийся лишь в середине 1940-х годов. Ее творчество, как и других эмигранток первой волны, к которым поэтесса была близка по году рождения (1895, по другим источникам 1893) и по поэтической манере (Brzykcy 2023 б), подвергалось многоуровневой дискредитации. По гендерным критериям оно вытеснялось на поля патриархальной литературы русского зарубежья, как женское; по идеологическим и политическим – замалчивалось в СССР, как эмигрантское (Демидова 2000, 205). В результате Лахман позиционировалась внизу той литературной структуры, вверху которой находилась Ахматова. Кроме того закрепившееся за Лахман звание «Ахматова русской эмиграции» увеличивало образовавшуюся между ними дистанцию, одну из них ставило в положение учительницы, обладающей творческой самобытностью и оригинальностью, вторую сводило к роли ученицы, одаренной, но всего лишь подражавшей своей гениальной ровеснице.

Влияние Ахматовой – а также акмеистической поэтики и неоклассицизма – современники видели в предельной простоте стихотворений Лахман, в их проникновенной глубине и драматической напряженности, в сжатости и четкости стиха, умело сочетавшейся с простотой мысли и чувства, в композиционной стройности и ясности лирических монологов, в пристрастии эмигрантской поэтессы к уподоблению стихотворений эпическим миниатюрам, с четко выделенной в них фабулой. При этом следование Ахматовой воспринималось не как эпигонство, а как «вдумчивое подражание», способность придавать свой оттенок чужой поэтической интонации. По меткому определению Георгия Гребенщикова, Лахман взяла от нее лучшее и прибавляла к нему «свое – еще лучшее» (цит. по: Левинг 2006).

Указанные обстоятельства надо учитывать при анализе лирической реплики Лахман, которая предстает как единственное в творчестве эмигрантки решение вступить в открытый спор с учительницей (Левинг 2006), к тому же – как попытка возразить Ахматовой в ее поэтической манере. Лахман, оставаясь ее продолжательницей и творчески претворяя ее приемы, в то же время оппонирует ей. Таким образом в ее стихотворении образуется сложная сеть интеракций, пересечений и глубоких связей между планом выражения и планом содержания.

По своей конструкции оба стихотворения укоренены в традиции XIX века и в то же время выходят за ее рамки, но каждый делает это по-своему. Произведение Ахматовой, которое в настоящее время публикуется иногда в искаженном варианте, сплошным текстом, в первоначальной редакции состояло из трех строф, разных по количеству строк (8+4+2),⁹ рифмовке (точно повторяющей рифмовку шекспировского сонета: ababcdcd efef gg) и

⁹ Так оно было опубликовано в «Новом мире», и таким его, вероятно, читала Лахман.

метрическому размеру, в котором вольный ямб первой строфы (с преобладанием пяти стоп) меняется трехстопным анапестом во второй строфе и четырехстопным в третьей. Протяженность строк, которая нивелирует легкость ямбической стопы и стремительность, порывистость анапеста, придает стихотворению медленный, торжественный ритм. Ощущение «интонации проповеди или сурового наставления» (Эйхенбаум 1986, 412-413) увеличивается и за счет совпадения границ стихотворных строк с синтагмами. Сила трех анжабманов ослаблена, так как они никогда не разбивают строку посередине, а всегда падают на ее клаузулу. Возвышенность монолога создают также риторические фигуры: перечисление («Хворая, бедствуя, немотствуя на ней»), многосоюзие («И мы мелем, и месим, и крошим») и риторическое утверждение («Да, для нас это грязь на калошах,/ Да, для нас это хруст на зубах»). В результате перед нами микрооператория [Тименчик 2014, I 307] с определенным ходом развития основной мысли, тяготеющей к «[...] четкому, строгому, логически законченному выражению, [...] к афористичности высказывания [...]» (Белодед 1971, 275). Право называть родную землю своею сформулировано в финальном дистихе, ему предшествует аргументация, данная в первой и второй строках. Двоекратное использование риторического утверждения (с частицей «да») во второй строке усиливает общее диалогическое начало высказывания, конкретизирует адресата, к которому будто обращается лирический субъект.

Если ритм и синтаксис стихотворения работают на его приподнятую тональность, то лексический словарь ее расшатывает. Это типичное для Ахматовой «[...] контрастное сочетание прозаических речений, разговорных интонаций с торжественными оборотами речи» (Эйхенбаум 1986, 425). Также в самом лексическом составе стиха проявляется присущее Ахматовой «столкно-

вание разнородных лексем» (Виноградов 1976, 384), которые поэтесса «[...] переплетает [...] на подобие жгута или девичьей косы» (Виноградов 1976, 380). Устаревшие лексемы («немотствуя») стоят рядом с разговорными («хворая»), словосочетания, принадлежащие к сфере духовной, сакральной («обетованный рай») сталкиваются с житейскими («калоши», «грязь»), окрашенными оттенком низкой коммерции («предмет купли и продажи»).

Ключевой лексемой в стихотворении является земля, сперва использованная – как метонимия родины – в заглавии стиха, затем конкретизирующаяся в противоречивых картинах содержимого ладанок, грязи на колошах, хруста на зубах и праха. Все они наделены неоднозначной смысловой нагрузкой, «внутренне антиномичны» (Смирнов 1971, 285). Ладанка, то есть мешочек с какой-либо святыней, в православной традиции носимый на шее, не является знаком ценности родной земли, ибо обесценивается лирическим субъектом, отвергается им как пустой жест эмигрантов (о себе и своих соотечественниках, оставшихся в СССР, Ахматова пишет: «ладанок не носим на груди»). В свою очередь двум следующим образам, происходящим из «низкой действительности» и внепоэтических языковых ресурсов, поэтесса придает значение высокого, ценного: они отражают как тяжелую жизнь в СССР, так и выносливость советского народа. Существительное «прах» и последовавшая за ним строка «ложимся в нее и становимся ею» вызывают религиозные («И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» – Быт. 2:7; «[...] в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» – Быт. 3:19; «Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах» – Еккл. 3:20) и литературные

(«[...] Я телом в прахе истлеваю,/ Умом громам повелеваю,/ Я царь – я раб – я червь – я бог! [...]» [Державин 1957, 116]) ассоциации.

Отметим также значение прилагательных-эпитетов, увеличивающееся за счет их небольшого количества (их всего три). Характерная для поэзии Ахматовой скупость на прилагательные («Целые сторфы, а иногда и целые стихотворения у Ахматовой лишены прилагательных [Эйхенбаум 1986, 401]) сочетается в произведении со стремлением вернуть этой части речи ее «[...] основную стилистическую роль – быть характерным эпитетом, относиться к существительному, определенно оттенять его каким-нибудь качеством» (Эйхенбаум 1986, 402). Особенно значимы в этом отношении устойчивое словосочетание «обетованный рай», активизирующее библейские ассоциации, и «горький сон», которое отсылает к эмигрантам и поэтому может быть поставлено в один ряд с образами темной дороги и пахнущего полынью чужого хлеба – метонимиями эмигрантской жизни из стихотворения *Не с теми я, кто бросил землю...*

Привлекает внимание и наречие «навзрыд», перенесенное из словосочетания «плакать навзрыд» в сферу поэзии («О ней стихи навзрыд не сочиняем») и таким образом вносящее новые смысловые нюансы в акт эмигрантского творчества, которое видится Ахматовой слезливым рифмачеством. В стихотворении намечается тот ахматовский прием, о котором писал Борис Эйхенбаум:

Попадая в стих, слово как бы вынимается из обыкновенной речи, окружается новой смысловой атмосферой, воспринимается на фоне не речи вообще, а речи именно стихотворной. Центральное, основное значение слова, с каким оно существует в обычном словаре, ослабляется, а вместо него являются новые боковые

смыслы, которые и придают слову особые смысловые оттенки
(Эйхенбаум 1986, 426).

Переходя к стихотворению Лахман, отметим сперва, что его метрический рисунок проще, менее изыскан, но так же прочно укоренен в русской классике, хотя в иных ее сегментах. Текст состоит из восемнадцати строк, написанных вольным ямбом (4-, 5- и 6-стопным) со смешанной рифмовкой (aabcbbd edefgfghh), т.е. размером, распространенным в литературе XIX века (*Погасло дневное светило...* Александра Пушкина, *Горе от ума* Александра Грибоедова, *Маскарад* Михаила Лермонтова), а в XX столетии вышедшем из употребления (Гаспаров 2001, 141). В свою очередь ритм стихотворения богаче, хотя он лишен ахматовской приподнятости, отдален от ораторского искусства и заметно тянет в сторону обиходной речи. Об этом решает прежде всего синтаксическая структура стихотворения: вопросительное предложение («Зачем?»), разбивающее прежнюю равномерную интонацию высказывания и устремляющее ее вверх, двойная пауза (графически обозначенная знаком тире), нарушающая плавность строк, обширный парентез и эмоциональная пауза. Все эти приемы разнообразят реплику Лахман, выявляют глубину ее эмоционального надрыва, вызванного обвинениями Ахматовой.

Поскольку стихотворение Лахман было задумано как полемическая реплика, защита собственной точки зрения, организующим началом стала в нем диалогизирующая речь, отраженная в самом заголовке («ответ на стихотворение»), в использовании личного местоимения «вы», проецирующего Ахматову как оппонентку, а также в лексическом словаре текста. Стремясь опровергнуть несправедливые упреки и противопоставить им свою правду, Лахман повторяет вслед за Ахматовой те же знаковые лексемы: ладанку на груди, прах, хруст в зубах, грязь на калошах, сон и похороны («ляжем в

землю»). Однако ставит их в ином словесном окружении, и таким образом переосмысляет их:

[...] Хвораю, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах [...].

(Ахматова 1989, 251)

[...] Болея и сгибаясь под тяжелой ношей,
Мы помним хруст в зубах ее песка,
И грязь и снег на маленьких калошах...

(Лахман)

Разговорное «хвораю» Ахматовой заменено у Лахман книжным «болея», вместо сжатого «бедствуя» появляется более изобразительное «сгибаясь под тяжелой ношей». Ахматовский «ни в чем не замешанный прах» снабжен двумя новыми эпитетами («недостижимый и драгоценный»), отражающими эмигрантскую удаленность от родины и любовь к ней. Совсем новым смыслом, благодаря определению «маленькие», обрастает образ калошей: поскольку он ассоциируется с ребячеством, можно его читать как синекдоху детства в России, разрушенного большевистским переворотом и последовавшим за ним бегством из страны, детства, которое всплывает в памяти субъекта беженца («мы помним [...] И грязь, и снег на маленьких калошах»). В то же время данный образ сопряжен с аллегорией родины-матери и чужбины-мачехи и отсылает к глубоко укоренившемуся в русской поэзии архетипу России-матери:

[...] Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно - своею.

(Ахматова 1989, 211)

[...] Когда в чужую землю ляжем,
Что нам не мачеха и не родная мать.
[...] Но мать отвергла нас и ныне далека. [...]

(Лахман)

Эмигранты представлены Лахман как отвергнутые жестокой матерью дети. Таким образом поэтесса смягчает приподнятый, торжественный пафос слов Ахматовой человеческой перспективой. Поэтический образ матери обоснованно читать и в биографическом ключе: по словам Крузенштерн-Петерец «Долг матери [...] Лахман ставила превыше всего. И она считала, что долг Ахматовой был спасти сына, которого она, оставшись в России, обрекла потом на все муки – аресты, издевательства, каторгу» (Крузенштерн-Петерец 1969). Убеденная, что «[...] можно выбирать политическое мученичество для себя, но нельзя выбирать его для своих детей» (Крузенштерн-Петерец 1969), Лахман, у которой в двадцатые годы родились два сына, в начале Второй мировой войны решила переехать из Европы в США.

В завершении стихотворения Лахман, разбив доводы Ахматовой, признает за собой и всеми эмигрантами, от имени которых выступает, право считать самих себя детьми России, в чем ставит их наравне с советским народом («А мы, рожденные и вскормленные ею / Мы смеем звать ее, как вы, – своею»). Лишь ахматовское обвинение эмигрантов в предательстве («Не делаем ее в душе своей/ предметом купли и продажи») Лахман оставляет без ответа, будто она не в состоянии оттолкнуть беспардонную атаку Ахматовой и противо-

поставить ей свой аргумент («А ваших слов о ‘Купле и продаже’, / Признаться, не могу понять»). В этом мнимом бессилии есть, однако, скрытная энергия: упрек Ахматовой кажется Лахман столь абсурдным, что не воспринимается как аргумент в споре.

Рассмотренные выше стихотворения существенны по нескольким причинам. Они не только вписываются в историю русской литературной полемики, но предстают как пример редкого в ней стихотворного спора. Конфронтации писателей осуществлялись, прежде всего, в формах эксплицитных, полемичных по своей природе, как литературная сатира, литературная критика и журнальная полемика (Мальцева 2004, 126). Особенно полезными в этом отношении были публицистические и функциональные тексты: рецензии, полемические статьи, литературные манифесты, открытые письма, трактаты и т.п. Их жанровое своеобразие позволяло автору программно представить свою точку зрения и оспорить чужую. Использование в споре художественных произведений, изначально лишенных яркого полемического потенциала, но получавших его в результате вовлечения в беседу, встречалось намного реже, зато обнаруживало жанрообразующую функцию литературной полемики, ее способность формировать жанровые модели и жанровую систему русской литературы. К немногочисленным проявлениям этого следует причислить возникновение в XVIII веке жанра полемической комедии на литературную тему, использованной рядом художников времен Екатерины Второй (Александр Сумароков, Николай Николаев, Николай Эмин и др.), затем – в начале XIX века – шишковистами и карамзинистами (Мальцева 2004), или использование Иваном Крыловым шуточной басни как средства полемики с Дмитрием Хвостовым (Лукьянович 2014).

Стихотворение Лахман уместно воспринимать как пример адаптации художественного произведения к диалогу русской диаспоры с советской метрополией. Задуманное и написанное как выражение авторской позиции, как вызов в адрес Ахматовой и протест, оно потеряло свою эстетическую автономность, взамен вобрав в себя черты критико-публицистического текста и из сугубо литературного факта превратившись в социальный факт и «биографический документ» (Głowiński 1977, 67), в котором лирическое «я» обоснованно отождествлять с Лахман, а лирическое «ты» – с Ахматовой.

С одной стороны, оба стихотворения отражают глубину той пропасти, которая легла между «двумя Россиями» после 1917 года, с другой – они свидетельствуют о единстве русской литературы, расколотаой политикой на две ветви, которые, однако, выросли из «одних духовных, этических истоков, одной и той же художественной традиции» (Чагин 1998, 21).

БИБЛИОГРАФИЯ

Адамович, Георгий, 1967: *О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника*, Париж: [без издательства].

Алиева, Самая, 2019: 'Риторика: наука и искусство. Электронное пособие', Махачкала,

https://eor.dgu.ru/lectures_f/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F/project/index.html [last accessed 29/06/2025]

- Ар. Г., 1898: in: 'Полемика литературная', *Энциклопедический словарь*, Санкт-Петербург: Семеновская Типолитография (И.А. Ефрона), XXIV, стр. 275-276.
- Ахматова, Анна, 1969: *Реквием. 1935-1940*, Нью-Йорк: Товарищество Зарубежных Писателей.
- Ахматова, Анна, 1987: *Сочинения в двух томах*, Москва: Художественная литература.
- Бахтин, Михаил, 1986: *Эстетика словесного творчества*, Москва: Искусство.
- Белодед, Иван, 1971: 'Символика контраста в поэтическом языке Анны Ахматовой', in: Алексеев, Михаил (ред.), *Поэтика и стилистика русской литературы*, Ленинград: Наука, стр. 269-279.
- Бобышев, Дмитрий, 1991: 'Ахматова и эмиграция', *Звезда*, 2, 177-181.
- Виноградов, Виктор, 1976: 'О поэзии Анны Ахматовой. Стилистические наброски', in: Виноградов, Виктор, *Поэтика русской литературы. Избранные труды*, Москва: Наука, стр. 367-459.
- Гаспаров, Михаил, 2001: 'Вольный ямб', in: Николукин, Александр (ред.), *Литературная энциклопедия терминов и понятий*, Москва: НТК «Интелвак», с. 141.
- Демидова, Ольга, 2000: 'Эмигрантские дочери и литературный канон русского зарубежья', in: *Пол. Гендер. Культура*, Москва: РГГУ, 2, стр. 205-219.
- Державин, Гавриил, 1957: *Стихотворения*, Ленинград: Советский писатель.
- Жирмунский, Виктор, 1973: *Творчество Анны Ахматовой*, Ленинград: Наука.
- Клоц, Яков, 2019: '«Реквием» Ахматовой в тамиздате. 56 писем', <https://www.colta.ru/articles/literature/21637-rekviem-ahmatovoy-v-tamizdate-56-pisem> [last accessed 02/07/2025]

- Крузенштерн-Петерс, Юстина, 1969: 'Живому другу', *Новое русское слово*, 4 ноября.
- Лахман, Гизелла, 'Избранная поэзия', <http://ju.org.ua/ru/literature/749.html> [last accessed 07/07/2025]
- Левинг, Юрий, 2006: '«Ахматова» русской эмиграции – Гизелла Лахман', *Новое литературное обозрение*, 5, 164-173, <https://magazines.gorky.media/nlo/2006/5/ahmatova-russkoj-emigraczii-gizella-lahman.html> [last accessed 14/08/2023]
- Лукьянович, Елена, 2014: 'Шуточные басни И.А. Крылова как форма литературной полемики', *Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова*, 7, 60-62.
- Мальцева, Татьяна, 2004: 'Литературная полемика в жанре комедии XVIII века как способ осмысления и оценки литературного процесса', in: *Дергачевские чтения – 2002. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы VI Всероссийской научной конференции, Екатеринбург, 2-3 октября 2002 г.*, Екатеринбург: Издательство Уральского университета, стр. 125-129.
- Найман, Анатолий, 1989а: 'Уроки поэта', *Литературная газета*, 14.06.1989, 8.
- Найман, Анатолий, 1989б: *Рассказы о Анне Ахматовой*, Москва: Художественная литература.
- Налегач, Наталья, 2019: 'Анна Ахматова и «парижская нота»: к вопросу о поэтическом влиянии', *Известия Уральского федерального университета, Серия 2: Гуманитарные науки*, 21, 3(190), 24-35.
- 'Наружная реклама «Анна Ахматова», Бренд: Фонд «Русский мир», <http://www.advertology.ru/index.php?name=Media&op=MediaShow&id=8396> [last accessed 01/07/2025]

- Поварнин, Сергей, 1918: *Спор: О теории и практике спора*, Петроград: Изд-во О.В. Богдановой.
- Родос, Валерий, 1989: *Теория и практика полемики*, Томск: Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева.
- Сафронова, Ольга, 2022: 'И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!', *Крымские известия*, <https://dzen.ru/a/YpvMi6lEuVccsf5> [last accessed 01/07/2025]
- Сиднев, Георгий, Лебедева, Ирина, 1990: '«Родная земля» Анны Ахматовой (Лингвостилистический анализ)', *Русский язык в национальной школе*, 6, 31-33.
- Смирнов, Игорь, 1971: 'К изучению символики Анны Ахматовой (раннее творчество)', in: Алексеев, Михаил (ред.), *Поэтика и стилистика русской литературы*, Ленинград: Наука, стр. 279-287.
- Соколова, Вера, 2010: 'Мотивы лирики И.Ф. Анненского и А.А. Ахматовой в творчестве Ирины Кнорринг (разветвленность поэтической родословной)', *Вестник Новгородского государственного университета*, 56, 62-66.
- Странник (Архиепископ Иоанн Шаховской), 1981: *Переписка с Кленовским*, Париж: [без издательства].
- Струве, Глеб, 1969: 'Как был впервые издан «Реквием»', in: Ахматова, Анна, *Реквием. 1935-1940*, Нью-Йорк: Товарищество Зарубежных Писателей, стр. 22-24.
- Тименчик, Роман, 2014: *Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е годы. Т. I-II*, Москва – Иерусалим: Мосты культуры – Гешарим.
- Толстой, Иван, Гаврилов, Андрей, 2011: 'Поверх барьеров с Иваном Толстым', <https://www.svoboda.org/a/24090606.html> [last accessed 03/07/2025]

- Федорук, Олександр, 2007: 'Ліричне диво Гізели Лахман', in: *Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн. Кн. 2: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії*, Київ: ФЕНІКС, стр. 9-26.
- Хлебников, Николай, 1879: 'Заметки о правилах и формах литературной борьбы', *Киевские университетские известия*, XI, 279-282.
- Цзой, Лувэй, Михайлова, Мария, 2021: 'Феномен «подахматовок» (ахматовский дискурс в женской поэзии первой трети XX в.)', *Studia Litterarum*, 6 (4), 198-223.
- Чагин, Алексей, 1998: *Расколотая лира. Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930-е годы*, Москва: Наследие.
- Чапек, Карел, 1959: 'Двенадцать приемов литературной полемики или Пособие по газетным дискуссиям', in: Чапек, Карел, *Сочинения в 5-ти томах*, Москва: Государственное издательство художественной литературы, 2, стр. 19-23.
- Чупринин, Сергей, 2007: *Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня*, Москва: Время.
- Шайтанов, Игорь, 2019: 'О литературной полемике', <https://voplit.ru/column-post/o-literaturnoj-polemike/> [last accessed 01/07/2025]
- Эйхенбаум, Борис, 1986: *О прозе. О поэзии. Сборник статей*, Ленинград: Художественная литература.
- Bielawski, Krzysztof, 2021: 'Polemika to nie «polemiká»', <https://didaskalia.pl/pl/artukul/polemika-nie-polemika> [last accessed 01/07/2025]
- Bijuković-Maršić, Mirta, Đukić, Marina, Alebić, Luka, 2020: 'Literary Writers and Journalistic Polemics', *Lingua Montenegrina*, 25, 263-280.

- Brzykcy, Jolanta, 2023a: 'Интертекстуальность в поэзии Гизеллы Лахман как маркер «женского письма»', *Australian Slavonic and East European Studies*, 37, 33-65.
- Brzykcy, Jolanta, 2023b: 'Творческая стратегия Гизеллы Лахман в контексте литературно-социологических механизмов русского зарубежья', *Prze-gląd Rusycystyczny*, 2023, 3, 197-210.
- Cavanagh, Clare, 2001: 'Przepisywanie Wielkiej Historii. Achmatowa. Szymborska i żona Lota', transl. Kunz, Tomasz, *Teksty Drugie*, 2, 11-28.
- Głowiński, Michał, 1977: *Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Okopień-Sławińska, Aleksandra, 1971: 'Relacje osobowe w literackiej komunikacji', in: Sławiński, Janusz (ed.), *Problemy socjologii literatury*, Wrocław: Ossolineum, pp. 109-125.
- Smith, Alexandra, 1996: 'The Tsvetaeva Theme in Akhmatova's Late Poetry', *Australian Slavonic and East European Studies*, 10/2, 139-156.

TATYANA SMYKOVSKAYA

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ БАЙКАЛО-АМУРСКОГО ИТЛ «ПУТЕАРМЕЕЦ»
КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ГУЛАГА**

Введение

Литературный журнал в России, беря истоки в XVIII веке, сделался одним из устойчивых символов словесно-творческого бытия. Традиция оказалась настолько фундаментальной, что в XX столетии не обошла стороной даже ГУЛАГ. Объёмные литературные журналы выходили почти во всех крупных подразделениях гулаговской системы. Они стали появляться уже в начале 1920-х годов: «Голос заключённого» (Гомель, Ташкент), «Новая жизнь ДОМЗАКа» (Майкоп), «СЛОН» (Соловецкие острова) и др. В 1930-е гулаговская журнальная парадигма значительно расширяется. В Белбалтлаге выпускается «Под знаменем Белморстроя», в Дмитлаге печатается «На штурм трассы», в Волголаге – «За стахановский Волгострой». Литературно-художественные журналы, вбирая разнообразный информационный поток о лагерной общественно-политической, производственной и культурно-воспитательной деятельности, постепенно сделались идеологическими эмблемами ИТЛ. «Лицом» БАМлага¹ был журнал «Путеармеец»², позиционировавшийся как главное «литературно-художественное издание» лагеря.

¹ Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь – одно из самых масштабных подразделений ГУЛАГа, располагалось на территории современной Амурской области РФ с 1932 по 1938 годы.

² *Путеармеец* – строитель «вторых путей», так в 1930-е годы называли Байкало-Амурскую магистраль.

Несмотря на наличие уникальных литературных источников, они до сих пор не становились предметом изучения литературоведов. Причин здесь несколько. Во-первых, ограниченный доступ к журналам, которые в течение ряда десятилетий находились под грифами «особое хранение» или «секретно». Во-вторых, среда бытования художественно-публицистических изданий, её пенитенциарный характер нередко требует от учёного не только определённых знаний и умений, но и особого эмоционально-психологического настроя, который не должен препятствовать объективной оценке словесного гулаговского дискурса.

Одной из первых представить гулаговскую периодику, в том числе и бамлаговскую, попыталась А.Ю. Горчева. Она составила библиографический каталог прессы ГУЛАГа, который был призван научно презентовать данное явление (Горчева 1996; 2009). При этом литературные газеты и журналы в каталоге не упоминаются. Смеем предположить, что эти ценные материалы или оказались не доступны ко времени создания книги, или по каким-то иным причинам не попали в поле зрения учёного.

Отдельные замечания о литературных журналах, выпускавшихся в советских ИТЛ в 1920–1930-е годы, встречаются пока в немногочисленных исследованиях такого словесного феномена, как литература ГУЛАГа. Так, в монографии А. Gullota присутствуют краткие характеристики литературной прессы Соловецкого лагеря (Gullota 2018). В историческом аспекте рассматривается журнал «Соловецкие острова» в исследовании М.Э. Коргановой, по мнению которой, издания СЛОНа – это «уникальное по содержанию, целостности, сохранности и полноте литературное наследие советской лагерной системы» (Корганова 2015, 440). В объёмной работе J. Draskoczy, посвящённой Белбалтлагу, в главе «The Art of Crime» находим

высказывания о литературной периодике данного ИТЛ, позволяющие автору сделать вывод о «полифонии художественных голосов и опытов» (Draskoczy 2014, 109) Беломорканала. В статье А.Г. Плотниковой в связи с изучением архива М. Горького, содержащего материалы о Дмитлаге (Смыковская 2024, 1-25), упоминается литературный журнал ИТЛ «На штурм трассы»:

Письма С.Г. Фирина³ М. Горькому – 19 документов (1934-1936) разного объёма от нескольких строк до пяти листов, свидетельствуют о специфике их отношений. Фирин отправлял Горькому каждый новый номер дмитлаговского литературного журнала «На штурм трассы», рассказывал об успехах строительства, о культурных мероприятиях и новых идеях в культурно-воспитательной части (Плотникова 2023, 308).

Специальных филологических исследований, анализирующих какой-либо литературный журнал ГУЛАГа и раскрывающих своеобразие художественно-публицистических текстов, печатавшихся на их страницах, на сегодняшний день не выявлено.

Таким образом, журнал БАМлага «Путеармеец» впервые становится предметом изучения, в этом заключается новизна предложенного исследования. Его цель – представить литературный журнал как важную часть официальной словесности лагеря⁴ и дать содержательно-поэтический разбор художественно-

³ Семён Григорьевич Фирин (1898-1937) – деятель ЧК-ГПУ-НКВД СССР, старший майор госбезопасности. С 1932 по 1933 годы являлся начальником Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря, с 1933 по 1937 годы руководил Дмитровским исправительно-трудовым лагерем.

⁴ Официальная литература БАМлага – это художественно-публицистические произведения, создававшиеся в ИТЛ и публиковавшиеся на страницах лагерных изданий. К основным темам официальной, заказной

публицистических материалов, публиковавшихся в нём. Реализация цели будет способствовать многоаспектному изучению словесности ГУЛАГа, а также содействовать её полноправному включению в советский литературный дискурс 1930-х годов, что, безусловно, расширит представление не только о художественной периодике анализируемого периода, но и в целом о специфике советского литературного процесса, позволит проследить связи, взаимопроникновения «вольных» и лагерных художественно-публицистических интенций.

Результаты исследования и их обсуждение

«Путеармеец» начал выходить в 1935 году, в котором увидело свет четыре номера. В последующие число ежегодных выпусков разнилось от двух до четырёх. Журнал имел тираж три тысячи экземпляров и обладал типичным для советской лагерной периодики сталинским девизом «Труд в СССР – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Ответственным редактором «Путеармейца» выступал Б.Н. Кузнецов.⁵ В разные годы существования издания в редколлегию входили: О.В. Шедвид, А.К. Бакин, А.А. Бельский, П.А. Бачевский, П.С. Сапожников, Г.Д. Мариенгоф, М.В. Молчанов,

литературы относились: перевоспитание заключённого (*перековка*), героический стахановский труд, покорение природных стихий, ударничество женщин, прославление вождей партии и др. Этот комплекс согласовался с общими соцреалистическими установками, закреплёнными в 1934 году на Первом съезде советских писателей (Смыковская, 2023).

⁵ Борис Николаевич Кузнецов являлся начальником культурно-воспитательного отдела БАМлага, в 1937 году был заместителем начальника лагеря, Н.А. Френкеля.

С.П. Федотов и др. Литературной редакцией заведовал Ласкин, в 1937-м его сменил В. Ажаев.⁶

«Путеармеец» реализовывал несколько задач. Главная из них – постоянное идеологическое давление на заключённого. Прессинг осуществлялся как открытыми, так и «теневыми», завуалированными способами. Прямым, «грубым» методом воздействия являлось присутствие объёмного пропагандистского блока, не связанного с литературной сферой. Обычно журнал открывался длинной речью И. Сталина, нередко печатался приказ или речь (М. Берман, Л. Каганович, Б. Кузнецов, Г. Ягода и др.), сопряжённые с политической обстановкой в стране или производственной деятельностью лагеря. Издание активно наводняли биографические справки об ударниках строительства, их гравюрные портреты, фотографии. Не менее востребованными оказались статьи, содержащие разного рода призывы и обращения. Этот раздел типичен для журнальной периодики ГУЛАГа.

Влияние посредством художественно-публицистического слова осуществлялось более «мягко». Литературный материал, определивший специфику журнала, делился на две группы: поэзия и проза. Лирикой осваивалась тема строительства, и прославлялся бамлаговский ударник, проза разрабатывала тематический комплекс, относящийся к *перековке* заключённого. Поэтические произведения, печатавшиеся в журнале, появлялись регулярно. В основном стихотворения, чередуясь с прозаическими текстами, размещались неупорядочено. Среди поэтов выделялись С. Федотов, А. Часовников, Г. Воловик, Д. Морской (Смыковская, 2023; Еланцева, 2000) и др. Их

⁶ К словесности имели отношение лишь поэт С. Федотов и прозаик В. Ажаев (Смыковская 2023, 145-167; Еланцева, 2000, 25-32; Lahusen 1997). Остальные члены редакционной коллегии участвовали в её работе номинально, поскольку занимали руководящие посты в системе БАМлага.

журнальные публикации отличались постоянством. Другая часть лирического конгломерата включалась в специальные рубрики. Первая, «Стихи путеармейцев», объединяла произведения механически. В основном сюда попадали небольшие стихотворения молодых поэтов лагеря. Один из них, А. Галайда, неизбито для лагерного автора описал покорение тайги в процессе возведения «вторых путей»:

Вершин лесных бараньи шапки
Подёрнулись туманной мглой
И ветер в озорные прятки
Играет с лиственной волной.
Течёт невидимой рекою
С таёжных дебрей тишина.
Своей мохнатою рукою
Нам машет древняя сосна.
Фаланга с грозного массива
Сдирает шкуру, – прах летит!
А горный кряж, вздымая гриву,
Грозит фалангу задавить.
В отместку, с гулкой канонадой
Фаланга роет рельсам путь.
Вот тут, за каменной громадой,
Стальные кони пробегут.
Вот тут, среди холмов отлогих,
Взрывая вековечный мрак,
Пройдут стада коней безногих,
Неся на лбу пунцовый мак.

(Галайда, 1935, *Вершин лесных бараньи шапки*, 9).

Тайга уподоблена живому существу. Её образ, созданный с помощью олицетворений («ветер играет», «сосна машет рукою»), динамичен. Фаланга не просто противопоставлена таёжному миру. Она враг, который жестоко расправляется с природой («сдирает шкуру»), убивая её, оставляет «прах». Звуковая метафора, образованная цепочкой *г-гp-г-д-р-р-р*, изображает звериный напор путеармейцев, стремление любыми средствами уничтожить «горный кряж». Поэт вводит нестандартный для официальной бамлаговской лирики мотив сопротивления. Аллитерация, основанная на взрывных согласных («А горный кряж, вздымая гpиву, / Грозит фалангу задавить»), воплощает отпор, который оказывает тайга. Природа не приемлет беспощадного вторжения. Она, словно раненый хищник, защищается из последних сил. Близость фонических образов говорит о равенстве противников. Строитель лишь с помощью аммонала («гулкая канонада») способен обуздать тайгу. Мотив безжалостного убийства таёжного леса порождает образ ущербного «безногого» поезда, чей «пунцовый мак на лбу», с одной стороны, воплощает звёздный символ советского государства, с другой, кровоточащую рану, – знак страдания не только природного мира, но и путеармейца, возводящего железную дорогу.

В стихотворении *Стоит сосна у синей котловины...* (1935) Галайда, изображая смерть дерева, развивает мотив укрощения природы:

Стоит сосна у синей котловины,
как богатырь, насторожив копье,
а там внизу, по вековой равнине,
кудрявое расселось молодье.
И за листвой на голубом экране
взбухает шар кроваво-огневой,
а дым костров клубится на поляне,

TATYANA SMYKOVSKAYA

над стылою, опаловой рекой.
И табор наш – холщёвое ночевье –
прирос грибом у корневищ сосны.
Кричит сова в зевластое ущелье
под свет льняной смеющейся луны.
Топор тяжёл. Смолистые поленья
облизаны волною огневой.
На завтра мы пойдём рубить коренья,
древесных сил порядок боевой.
И груды шпал должны потом родиться
под беспощадно режущей пилой.
Сосна, тебе уж больше не приснится
зелёный сон весеннею порой.
Сосна, теперь не будешь ты качаться,
стонать, шуметь под лиственный буран,
и поезда по рельсам будут мчаться
туда, где плещет Тихий океан

(Галайда, *Стоит сосна у синей котловины*, 1935, 31).

Поэт БАМлага вступает в лирический диалог с М.Ю. Лермонтовым, чья сосна одухотворена («одета, как ризой»; Лермонтов, 1988, 208), жива и способна видеть прекрасные сны. У Галайды «кроваво-огневой шар» солнца предрекает сосне гибель, а «синяя котловина» превращается в её могилу. Традиционно «звонкая», «струнная» сосна (А. Блок, И. Бунин, С. Есенин, Н. Клюев, В. Хлебников и др.) лишена в бамлаговской поэзии голоса («не будешь стонать, шуметь»). Её весенним снам не суждено сбыться. Дерево, срубленное под корень, знаменует гибель тайги, отданной в жертву «великой» магистрали. Деструктивность задуманного прослеживается в наименованиях

путеармейцев («табор», «кочевье»), фиксирующих отсутствие укоренённости, равнодушие лагерных строителей к природе и бездумную суть содеянного.

Мудрая вековая сосна – один из самых традиционных растительных образов русской лирики:

[...] в произведениях русской поэзии дерево часто выступает как система пространственных и духовных координат, соединяющих небо и землю, верх и низ, правое и левое, все стороны света. (Эпштейн, 2007, 40).

Сосна у Галайды, являясь прообразом мирового древа, объединяет верх («голубой экран», «шар кроваво-огневой», «копьё») и низ («равнина», «корневище», «ущелье») мироздания. От «стылой реки» и «кореньев» до «льняного света луны» простирается дерево-«богатырь», противопоставленное лагерному «молодью». Оно, орудуя «беспощадной» пилой и «тяжёлым» топором, уничтожает саму жизнь, разрушает ось мира. ПUTEАРМЕЕЦ, изначально лишается почвы, на которой мог бы, подобно дереву, прорасти и выполнять своё предназначение. Вертикаль дерева в стихотворении трансформируется в горизонталь «шпал» и «рельс», воплощающую потерю этического ориентира, «двойного притяжения» (небо и земля), которым «распрямляется нравственная природа человека» (Эпштейн, 2007, 45), поэтому строитель «вторых путей» порождает лишь железную материю – поезд. Образ срубленного, поруганного дерева не типичен для советской лирики, где, наоборот, силён мотив посадки, возвращения как знака связи поколений, «сознательного и рукотворного бессмертия» (Эпштейн, 2007, 41):

В ясный полдень, на исходе лета, / Шёл старик дорогой полевой; /
Вырыл вишню молодую где-то / И, довольный, нёс её домой. // Он
глядел весёлыми глазами / На поля, на дальнюю межу / И подумал:
«Дай-ка я на память / У дороги вишню посажу. // Пусть растёт
большая-пребольшая, / Пусть идёт и вширь и в высоту / И, дорогу
нашу украшая, / Каждый год купается в цвету. // Путники в тени
её прилягут, / Отдохнут в прохладе, в тишине, / И, отведав сочных,
спелых ягод, / Может статься, вспомнят обо мне» (Исаковский,
1981, 295).

Если же образ погубленного дерева встречается у советских поэтов, то чаще осмысливается трагически: М. Исаковский *О гибнущих лесах* (1926) и *Берёза* (1936), Н. Тихонов *Лес полон то звоном, то воем...* (между 1967 и 1969) и др.

Сосна в стихотворении Галайды не просто олицетворяет отсутствие преемственности, умерщвление прошлого, ротацию исторических эпох. Её насильственное падение обозначает революционную попытку смены модели мира: дерево замещается железной дорогой, опоясывающей страну до Тихого океана. От живого хрупкого растения полотно магистрали отличается стальной негибамостью и боевой мощью. Более того, мотив срубания – это претензия на «обновление» поэтического дискурса и показатель бескомпромиссного характера лагерного творчества.

Несмотря на многочисленные эпизоды заготовки леса заключёнными, мотив «ударно-славного» уничтожения дерева не характерен и для авторов, прошедших через ИТЛ. У Шаламова погибшие в жестоких природных схватках деревья воплощают лагерное существование человека:

Деревья на Севере умирают лёжа, как люди. Огромные обнажённые корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. [...] Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону и умирали, лёжа на мягком толстом слое мха – ярко-зелёном и ярко-розовом. (Шаламов, 2018, 65-66)

Ставший классическим образ стланика символизирует внутреннюю стойкость человека, способного выжить даже в тлетворных кругах ГУЛАГа:

Стланик – дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозелёное дерево. Среди белого блеска снега матово-зелёные хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромнен и незаметен – всё кругом торопливо цветёт, стараясь процвести в короткое северное лето. [...] Но осень близка, и вот уже сыплется жёлтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свёртывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-жёлтой травы и серого мха горят среди леса огромные зелёные факелы стланика (Шаламов, 2018, 187).

Данный образ созвучен образу лиственницы, созданному А.И. Солженицыным во втором цикле *Крохоток* (1996-1999). Лиственница – олицетворение непреклонности, скрытой воли, потаённого умения выстоять, восстав из пепла. Так, авторы, пережившие гулаговское заточение и по-разному оценивавшие его опыт, сходились в присутствии некой корневой человеческой силы, метафорически изображённой в древесном образе.

Вторая поэтическая рубрика журнала носила название «Страничка начинающего автора» и содержала биографические сведения и стихотворения

молодых поэтов лагеря. Схожие разделы имелись и в других литературных гулаговских изданиях. Так, журнал Дмитлага «На штурм» включал рубрику «Поэты трассы», в которой редакция отдавала предпочтение новоиспечённым стихотворцам ИТЛ. Тенденция к презентации начинающих поэтов отражала основную цель культурно-воспитательной работы исправительно-трудовых советских «учреждений»: всё внимание к перековавшимся заключённым, творчески вдохновлённым «великим» делом ГУЛАГа. Лагерники, получившие литературную «путёвку в жизнь», должны были и на воле обелять систему.

Одна из «страничек» бамлаговского журнала посвящалась Сергею Воронину,⁷ в будущем известному советскому писателю. В биографической справке указывалось, что до заключения он не писал. Однако за четыре месяца лагерной жизни успел напечатать несколько произведений:

[...] стих *Ударнику-путеармейцу* в сборнике «Открытые семафоры», стихотворение и рассказ в третьем номере «Путеармейца». (Путеармеец, 1935, 45)

Редакция отмечала «одарённость, работоспособность» начинающего писателя, «быстрый рост» лирического мастерства:

[...] у Воронина есть уже своя, только ему присущая манера: большая лёгкость, простота и бодрая музыкальность помогут автору стать поэтом с широкой аудиторией (Путеармеец, 1935, 45).

⁷ Сергей Алексеевич Воронин (1913-2002) в 1934-1935 годах был заключённым БАМлага, в лагере сотрудничал с культурно-воспитательным отделом. Одно из самых известных стихотворений, созданных Ворониным в БАМлаге, – *Первый пусковой* о первом поезде, пущенном по Байкало-Амурской магистрали.

Читателю предлагалось познакомиться с воронинскими стихотворениями, рассмотрим одно из них. Произведение *Два года* (1935) имеет подзаголовок *калейдоскоп* и, в целом, выдержано в рамках тематического блока *перековка*. Подзаголовком автор, вероятно, стремился подчеркнуть подвижность времени, непредсказуемость жизненных поворотов. Возможно, в нём скрыт и иронический подтекст: в советском государстве ты не только из тридцатипятника⁸ можешь в одночасье превратиться в ударника лагерного производства, но и из свободного честного гражданина в считанные минуты обернуться «врагом народа». Композиционный рисунок произведения метафорически соотносится с движением поезда и построен на чередовании «оконных» картинок-пейзажей с воспоминаниями:

Широко раскинулись дикие скалы
тяжёлой, угрюмой, зубчатой грядой,
украшивши елью немые оскалы,
кой-где приодевшись зелёной травой...
(Воронин, 1935, 45)

Дальневосточная тайга благодаря использованным эпитетам («дикий», «тяжёлый», «угрюмый», «немой») предстаёт недружелюбным краем. С одной стороны, это связано с мотивом его покорения, с желанием акцентировать неприступную мощь природы и героизм путеармейца. С другой, места заключения невольно обрисовывались в негативном ключе, казались пространством со звериным «оскалом». Вторая и третья картины стихотворения – экскурс в воровское прошлое. Четвёртая – «чудесное» перерождение,

⁸ Тридцатипятник – заключённый, осуждённый по 35-ой уголовной статье.

изображённое в сказочной манере: скалы «метаются в небеса», кирка «взлетает смело», а тачки легко «бегут длинной вереницей». В последующих частях воспеваются «вторые пути» и первый поезд, пущенный по ним: «И несётся поезд метеором [...] / В пережат стучат колёса хором, / длиной лентой стелется дымок...» (Воронин, 1935, 45). Образ поезда праздничен, стук его колёс «весел». Поэт нивелирует трагический подтекст, обозначенный штрихом в начале. В заключительной картине с помощью композиционного кольца оспаривается «глухость» края. Дальний Восток, благодаря героическому трудовому напору, оживает, «гордо поднимает голову». Именно здесь появляется бамлаговский поезд с красными вагонами, сумевший связать периферию страны с её центром. Производственный топос БАМлага осмысливается как животворный источник, питающий новое советское государство железом, древесиной и мехом. Поэт словно не замечает: появлялись рельсы, поезда, мосты, но безвозвратно исчезали люди.

Проза в «Путеармейце» представлена рассказом, единственной темой которого стала *перековка*. В стихотворном творчестве тема перевоспитания реализовывалась упрощённой композиционной антитезой *прошлое – настоящее*, а также обобщённым образом преступника-отказчика, переродившегося в лагере в ударника строительства. В рассказах «Путеармейца» данные структуры, наполняясь деталями, получают более подробную разработку. В произведениях появляются новые типы героев: штрафники, женщина-начальник, воспитатель, ребёнок, интеллигент (врач, инженер). Внутри тематического блока происходит обогащение сюжетных схем: соперничество между тридцатипятниками, трудовое соревнование бригад, подвиг на производстве, борьба за качество строительных объектов. Традиционное противопоставление былой воровской, разбойной жизни и лагерного настоящего, наполненного «счастьем» работы,

осуществляется не просто через элементарную архитектонику, а посредством художественного образа. В рассказе Д. Рудык *Вещи, люди, события* (1936) таким становится укоренённый в русской литературе образ дома. Антитеза выстраивается благодаря не менее частотной в русской словесности оппозиции *дом – антидом*. По замечанию Ю.М. Лотмана, истинному дому нередко противостоит «не-дом» (например, у Гоголя публичный дом и канцелярия, у Булгакова – коммунальная квартира и «Дом Грибоедова») (Лотман, 1988, 286-287). В произведении представлено четыре *псевдодома*. Первый, двухэтажный особняк, в котором провёл детство и юность главный герой, инженер Ерёмин:

[...] широкая дубовая лестница... Много комнат, можно заблудиться. В одной из них рояль [...]. Папа всегда жил в кабинете, там, где большие картины [...]. В других комнатах было интереснее, – столько мебели, что солнце не в состоянии пробиться до противоположной стены; много вещей, зеркала; с зеркалами можно играть (Рудык, 1936, 8).

Предметы (рояль, картины, зеркала), наполняющие домашний локус, свидетельствуют, с авторской точки зрения, о богемном, пустом образе жизни его обитателей. Отсутствие солнца, с одной стороны, символизирует внутреннюю опустошённость героя, главная цель которого – мещанское накопительство. С другой, солнце – символ огненных революционных перемен, к которым в семье Ерёминых никто не стремился. Знаковым выступает «блуждание» в родном доме. Именно с него, согласно авторской мысли, началось плутание героя по неверным тропам: сначала университетская молодость, наполненная «товарищескими кутежами», затем мнимое принятие

революции, подделка партийных документов, бессмысленная работа в управлении «какого-то искусствоведческого института» и, наконец, лагерь как расплата за беспутную жизнь.

Второй ложный дом – это дом для железнодорожников, некогда скверно построенный инженером Ерёминым:

Лишь вылетавший клочьями дым из полуразрушенной трубы и свет, с трудом пробивавшийся через крепкую наледь на маленьких окошках, отдалённо говорили о человеческом жилье. Сугробы снега заменяли завалинку. Стены кривились во все стороны. Односкатная крыша опустилась так низко, что Ерёмин мог опереться на неё подбородком. / – Опустошение, – подумал Ерёмин. – Так должен выглядеть мир перед своей гибелью. / Ветер взывал протяжно и резко. (Рудык, 1936, 8)

Убогий внешний вид дома, именуемый героем «жалким сараем», «лачугой», «хибаркой» и «развалиной», – олицетворение не только беспросветного, бестолкового прошлого инженера, но и всей страны:

Так возникали железнодорожные посёлки, домишки стрелочников, мрачные сараи, продуваемые ветром, с крышами, протекавшими от осенних дождей. Редкие сенаторские ревизии устанавливали растраты, хищения, взяточничество. Мелкую сошку судили, те, кто покрупнее, откупались или, в крайнем случае, пускали пулю в висок. Менялись люди, оставалась система. / Не один такой бутафорский домик был выстроен Ерёминым. (Рудык, 1936, 9)

Дома железнодорожных работников – это «перекосившиеся обломки» старого мира. Лагерное начальство призывает Ерёмина быстрее избавиться от подобных строений. В них царит холод («[...] печь затопить нельзя. Чинили, чинили...»; Рудык, 1936, 11), на мебели повсюду иней. Ветхие дома, словно призраки бывшего прогнившего государства, «починить» и оживить их не представлялось возможным. Россию сковывал холод косности, лжи и несправедливости.

Третий *псевдодом* – квартира, где герой жил до лагеря: «Свою жизнь он заполнил затхлым грузом покупаемых старинных вещей. Квартира пухла, как плюшкинская куча» (Рудык, 1936, 9). Она наследие детства и молодости, продолжение буржуазно-мещанских привычек, приобретённых в родительском гнезде. Последний *не-дом* – лагерное общежитие, откуда герой каждый день «безучастно выходил и так же безучастно возвращался» (Рудык, 1936, 9). Бездомность воплощает отсутствие исторической и личной укоренённости, потерю жизненных ориентиров, разочарованность, неимение веры в светлое советское будущее.

Антидома не соответствуют великой мечте о всеобщем счастье и великом переустройстве мира:

Эту лачугу надо снести и выстроить такой дом, который вместил бы в себе много солнца, честности и мудрости в каждой своей линии, на каждом своём квадратном метре. Дом, который его строитель строил бы, как дворец. (Рудык, 1936, 11)

Возвести истинный, настоящий дом возможно, поскольку обветшалые, непригодные для жизни сооружения населяют «новые люди». Они, в отличие от

Ерёмина, не разуверились в себе, не утратили мечты. В их домах книги, чья подборка неслучайна:

[...] тут были дерзкие мыслители начала человеческой истории, поэты, говорящие о любви, борьбе и счастье. Рядом выровнялась колонна корешков с золототиснёнными именами Ленина и Сталина. (Рудык, 1936, 11)

Ерёмин обращает внимание на пианино, спрятанное от мороза под два одеяла. Оно в рассказе противопоставлено роялю, когда-то находившемуся в доме родителей: «[...] женщина, у которой от юбки тянется длинный чёрный бархатный хвост, поёт: “исполняют мой каприз...”» (Рудык, 1936, 8). В отличие от салонного рояля, на котором игрались глупые песенки, пианино железнодорожника предназначено для «фантазий» Бетховена. Они вдохновили Ерёмина на строительство дома мечты, стали толчком к внутреннему перерождению:

Я перестроил ваш дом. Я его совсем перестроил. Я покажу новый проект начальнику. По-моему, он не станет возражать против такой перестройки. (Рудык, 1936, 12)

Благодаря образу дома *перековка* героя показана эволюционно. Он проходит путь от праздного рефлектирующего интеллигента до сознательного творца не просто нового, подлинного дома, но обновлённого общества и государства:

Тот дом, который должен был вырасти на месте лачуги, Ерёмин увидал прекрасным, стройным, звучащим, как бетховенская соната. Новые дома росли вслед за ним, выстраивались в улицы, города... Их перерезали каналы, мосты летели радугами, торжественные площади раздвигали старый мир. (Рудык, 1936, 11)

Рассказ Д. Рудык демонстрирует, что типичная для соцреализма пространственная метафора *страна – наш общий огромный дом* (Ф. Гладков, М. Лузгин, А. Неверов, А. Толстой и др.) презентована и в официальном лагерном творчестве. Оно, несмотря на замкнутость художественного топоса, ограниченный спектр тем и проблем, не оставалось в стороне от общелитературных веяний, впитывало и прорабатывало складывающиеся изобразительные схемы и каноны соцреалистической эстетики.

В рассказах о *перековке* ключевая функция отводилась детали. Особую роль играл предметный образ. Он, вероятно, как материальный и наглядный, представлялся более понятным и доступным лагерному читателю. Нередко названия произведений включали предметную номинацию: *Трубка рецидивиста* (1935) И. Кружинина, *Пила Василия Вороны* (1936) Л. Лисенко и др. Вещный образ использовался в разных целях. Он мог воплощать беспросветность прошлого, бесплодность былого существования героя. В рассказе *Два дня* (1935) П. Жагира для начальника лагерной фаланги Марии Антоновны Левцовой выражением абсурдности бытия царской России стали шарики из хлебного мякиша:

Кусочек хлебного мякиша, который Мария Антоновна вынесла из пекарни и всё время бессознательно приминала пальцами левой руки, превратился в пластичный и упругий комок. Теперь к этой

бессознательной работе присоединились и пальцы правой руки. И тогда комочек стал принимать самые разнообразные, очень правильные геометрические формы. Он превращался в аккуратный кубик, становился искусно скатанным шариком, делался трёхгранником с гладкими и точными гранями или невесть какой фигурой, но непременно симметричной и красиво сделанной. / Этот навык пальцы Марии Антоновны приобрели в царских тюрьмах. / Чем там можно было заниматься, кроме изделий из хлебного мякиша? И Мария Антоновна постигла это искусство в совершенстве. Она знала сокровенные тайны окраски белого теста в самые различные цвета, она умела делать предметы с тончайшими деталями, – узорные рамки для фотографий, замысловатые коробочки, всевозможные живые цветы, бусы – самые разнообразные, цветистые, с ювелирной изощрённостью сделанные бусы. / Очень много бус сделала Мария Антоновна! И за эти бусы она остро возненавидела царскую тюрьму и её тюремщиков. Возненавидела жгучей, нестерпимой ненавистью. Бусы, бусы, бусы! Нелепая, бессмысленная работа в смрадной камере. Тупая обречённость – делать то, что никому не нужно, или же ничего не делать. (Жагир *Два дня*, 1935, 12-13)

Вещный образ приобретает оценочную коннотацию. Он не просто призван охарактеризовать бездеятельное прошлое героини, но отобразить нерациональность царского режима, не умевшего, в отличие от советской системы, с «пользой» находить применение заключённым.

Образ вещиц из хлебного мякиша нередок в лагерной прозе, осмысливающей трагедию гулаговской эпохи. Он делается одной из устойчивых примет лагерного бытия. Однако, в противовес официальному

дискурсу, интерпретируется иначе. А.И. Солженицын в *Архипелаге ГУЛАГ* (1964-1968) вспоминает литовцев-католиков, мастеровивших из хлеба чётки:

Они делали их из размоченного, а потом промешанного хлеба, окрашивали (в чёрный цвет – жжёной резиной, в белый – зубным порошком, в красный – красным стрептоцидом), нанизывали во влажном виде на ссученные и промыленные нитки и давали досохнуть на окне. (Солженицын, 2010, 94)

Чётки, изготовленные литовцами специально для Солженицына, долгие годы являлись верным помощником в писательстве. Они, подобно телогрейке и тайно вынесенному номеру, превратились в знаковую вещь, напоминавшую о тяжёлом, но исключительно важном периоде жизни:

С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда, я отмеривал и пересчитывал чётки в широкой зимней рукавице – на разводе, на перегоне, во всех ожиданиях, это можно было делать стоя, и мороз не мешал. И через обыски я проносил их так же в ватной рукавице, где они не прощупывались. Раз несколько находили их надзиратели, но догадывались, что это для молитвы, и отдавали. До конца срока (когда набралось у меня уже 12 тысяч строк), а затем ещё и в ссылке помогало мне это ожерелье писать и помнить (Солженицын, 2010, 94).

Так предмет, вылепленный из хлебного мякиша, обретает сакральную значимость. Вещь, сделанная из бесценного в лагерной зоне хлеба, совмещает в себе священные сферы – религию и творчество:

TATYANA SMYKOVSKAYA

Ожерелье моё, сотня шариков хлебных,
Изо всех пропастей выводящая нить!
Перебором твоим цепи строк ворожебных,
Обречённых на смерть, я успел сохранить.

В ожиданиях, безчисленных в зэковской доле,
Прикрывая тебя от соседей полой,
С неподвижным лицом, словно чётки католик,
Отмерял я тебя терпеливой рукой.

Проносил в рукавице, уловка поэта!
Не дойди до тебя я усталым умом –
Было б меньше одною поэмой пропето,
Было больше б одним надмогильным холмом.

(Солженицын, 2016, 230).⁹

В рассказе Жагира бусы – вещь «пустая», бессодержательная: автор акцентирует лишь техническое мастерство, с которым они изготовлены. Героиня не способна вложить в них душу, увидеть в их появлении глубокий смысл. Для лирического героя Солженицына чётки, напротив, – выход из лагерного небытия, избавление от смерти. Они спасают не столько поэтические строки, сколько жизнь.

Предметный образ может быть трактован бамлаговским автором как толчок к перерождению героя, его внутренней эволюции. В рассказе С. Воронина *Штрафники* (1935) им выступает приказ № 143 наркома

⁹ Стихотворение относится к лагерной «потайной лирике», которую Солженицын создавал в ИТЛ и после освобождения восстанавливал по памяти.

внутренних дел Генриха Ягоды об организованном трудовом устройстве и помощи бывшим заключённым. Именно листок с приказом заставляет отъявленного отказчика Краснушникову задуматься о работе, а затем повести за собой врага Липатова и всю фалангу. В небольшом рассказе *Лодырь Лейка* (1935) Домбровского в той же функции выступает лагерная газета, где помещается разоблачительная статья о заключённом Захаре Петровиче Лейке. Газетный материал даёт герою поразмышлять о праздном образе жизни и своевременно отказаться от побега.

Предметный образ важен в произведениях, повествующих о перерождении через трудовое состязание или разработку усовершенствованных методов строительного производства. Настоящим поступком, сродни подвигу, для рецидивиста Альберта Тли становится применение любимой курительной трубки в качестве орудия труда. Её он использует, чтобы починить тачку, сломавшуюся во время соревнования с тридцатипятиком Золотым. Трубка воспринимается героем как неотъемлемая часть самого себя, без неё он не мыслит существования:

Длинная и тёмная молчаливая подруга его жизни, она напоминала Альберту об Александровском центре, о тяжёлых кандалах, и, главное, о товарище, запоротом царскими жандармами на сахалинских копиях. / Альберт Тля – похититель чужой собственности – считал трубку единственно ему принадлежащим достоянием. / Он отказывался отвечать на допросах, если трубка была отобрана при аресте и не возвращалась по первому требованию. (Кружинин, 1935, 37)

Альберт, соперничая с Золотым, лишается трубки:

До победы оставалась одна минута. Но случилась авария: у старой тачки сломалась чека. Колесо сползло в сторону. Сломалась чека. [...] – А если трубку? Если приспособить мундштук старой, каторжной трубки, верной подруги жизни? – Альберт выхватывает трубку изо рта и втыкает её вместо чеки... Решительным рывком толкает он тачку. В тот момент, когда счётчик кричит: «стой!» – старая трубка трещит и ломается. / Нет больше старой трубки: она рассыпалась, как порода; нет трубки, но тачка дошла до финиша, (Кружнин, 1935, 38)

С поломкой любимой вещи происходит и внутренний слом: Альберт Тля избирается бригадиром фаланги. Раздавленная старая трубка, таким образом символизирует смену жизненных ориентиров, отказ от уголовного прошлого. Перерождение акцентируется и портретной подробностью. Тело рецидивиста полностью покрыто уродливыми татуировками, которых он стыдится. Однако после грандиозного трудового успеха все перестают их замечать и смотрят Тле только в глаза, что для героя является началом нового, сознательного отношения к жизни. Лагерный рассказ, в отличие от поэтического дискурса, фиксирующего ситуацию перерождения, стремится показать *перековку* в подробностях, ответить на вопрос не *что произошло*, а *как это случилось*. Предметный образ, обладая «телесностью», как нельзя лучше сопутствовал данной цели, поскольку зримо и доходчиво акцентировал эволюцию героя бамлаговской прозы.

Для изображения *перековавшегося* заключённого автор нередко прибегает к портретной детали. В рассказе *Дочь чекиста* (1935) П. Жагира ей становится сбритая борода:

Девочка вбежала в соседнюю комнату и замерла с широко открытыми глазами. Около стола сидел Денисов. Определённо, Денисов! Но... без бороды. Лицо его было непривычно гладким, по-новому чистым и молодым. (Жагир, *Дочь чекиста*, 1935, 28)

Изменившийся облик фиксирует внутренние перемены. Отныне путь героя, как и его лицо, будет «гладким» и «чистым», наполненным осмысленной работой и чтением нужных книг. Подробность внешности является не только отражением удавшейся *перековки*, но и элементом пропаганды «здорового» лагерного быта, имевшей место в первые годы существования дальневосточного ИТЛ.

В качестве психологической детали в прозаических произведениях о «смене кожи» мог выступать и пейзаж. В *Лодыре Лейке* он отображает «хаос», царивший в душе заключённого Захара Лейки:

Отчаяние сменилось глубоким безразличием. Лицо Лейки стало опять унылым и серым, как перед побегом. / Подымался ветер. Деревья шелестели скупно, сурово. Тёплые тона быстро тускнели. Ландшафт становился неприветливым и холодным. Ветер крепчал, и по низу стайками, догоняя друг друга, кружились прошлогодние листья. / Над тайгой плыли облака, ещё разрозненные, но тяжёлые и тёмные (Домбровский, 1935, 34).

Скопление «хмурых» эпитетов («унылый», «серый», «холодный», «суровый» и др.) олицетворяет замутнённость души героя, беспокойный ветер – признак его растерянности и неуверенности. Пейзажные детали в рассказе имеют раздробленную семантику («разрозненные» и «рванные» облака,

кружение листьев), что символизирует отсутствие цельности, сомнение в выборе верной жизненной дороги, неопределённость, захватившую отклоняющегося от работы Захара Лейку. Герой, заметив лопнувший рельс, бросается навстречу идущему паровозу. Подвиг преображает заключённого, а вместе с ним и природу вокруг:

Дождь пошёл рывками, полосами, роняя последние капли,
тяжёлые и редкие. Лучи солнца пронизывали облака, они на ходу
рвали на лёгкие клочья и растворялись в синеве горизонта.
Лейка бежал ровно и сосредоточенно. (Домбровский, 1935, 34)

Последовательность пейзажных деталей представляется неслучайной. Сначала дождь смывает недавние тёмные мысли, затем выглядывает солнце как типичный знак внутреннего «революционного» переворота, после оставшиеся сомнения, «лёгкие клочья облаков», поглощаются гармоничной «синевой» неба. Тридцатипятиник обретает цель – спасти поезд. Она делает его не просто героем, но самодостаточной обновлённой личностью, осознанно идущей по пути трудового перерождения. Вследствие чего побег из лагеря остаётся незамеченным и безнаказанным.

Заключение

Литературный материал в «Путеармейце» группировался в два блока: поэзия и малая проза. Привлечение талантливых поэтов (А. Галайда, С. Воронин) позволило раздвинуть рамки лирической системы официальной бамлаговской литературы. Прежде всего, по-иному зазвучал мотив покорения тайги. Бравурный пафос, сопровождающий изображение путеармейцев, покоряющих

дальневосточную землю, оказался оттенён трагическим восприятием процесса уничтожения природного мира. Ведущим становится образ умирающего спиленного дерева, который символизирует как смерть былой исторической эпохи, так и попытку формирования «железной» модели мироздания, лишённой вертикальной духовной оси. Природная тематика была спасательным кругом для ряда поэтов ИТЛ, поскольку позволяла частично нивелировать гулаговскую риторику и затрагивать проблематику, выходящую за границы, за соблюдением которых следил культурно-воспитательный отдел.

Новаторски с точки зрения персонажной парадигмы, сюжетно-содержательных поворотов оказалась презентована ведущая тема лагерной конъюнктурной литературы – *перековка*, воплощённая в «Путеармейце» малой прозаической формой. Ключевой жанр – рассказ, с помощью которого редколлегия попробовала свести к минимуму нарочито-грубое идеологическое воздействие. Так, вероятно, подчёркивалась литературность журнала, его отличие от других лагерных изданий. Помимо этого рассказ, выстраивающийся вокруг одного эпизода, характера или сюжетной линии, позволял предметно прорисовать отдельный образ, дать точечный пример *перековавшегося* заключённого.

Главенствующей темой прозаических произведений являлась *перековка*. Такой акцент представляется преднамеренным ходом. *Перековка* поглощает производственную тематику, которая чаще всего служит фоном к повествованию о перерождении. Иные тематические линии (покорение природы, прославление стройки и стахановца и др.) прозой журнала не затрагивались и привычно отдавались на откуп поэтической форме. В литературном лагерном дискурсе восхваление кого или чего-либо, вероятно, считалось прерогативой лирики как наиболее экспрессивного и суггестивного из литературных родов.

Ведущим художественным средством, наряду с портретом и пейзажем, становится вещный образ (трубка, пила, бусы, газета и др.). Он благодаря наглядности и конкретности делается необычайно востребованным авторами лагерных рассказов. С помощью вещной детали удаётся максимально сжато и ёмко изобразить ошибки прошлого или зафиксировать точку отсчёта его «новой» сознательной жизни.

Рассказы о перерождении осваивают нестандартные для лагерного континуума художественные пространства, в частности, локус дома, столь укоренённый в системе русской словесности. Бамлаговские прозаики, используя востребованную модель *дом – антидом*, показывают, с одной стороны, своё сращение с традицией, с другой, демонстрируют стремление вырваться за пределы санкционированного строительного топоса. Писатели БАМлага, возможно, следуя подсознательным изобразительным интенциям, углубляли образную схему подконтрольного творчества.

Авторы, печатавшиеся в «Путеармейце», частично преодолевают запреты, наложенные жёсткой гулаговской цензурой. Редакция журнала попыталась уменьшить количество произведений, наполненных шаблонно-топорными образами, лишёнными художественной сути, и ввести пусть и незначительное число текстов, по-своему обыгрывающих тематику и образность лагерной словесности.

ЛИТЕРАТУРА

- Воронин, Сергей, 1935: 'Два года', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 4, 45.
- Галайда, Анатолий, 1935: 'Вершин лесных бараньи шапки...', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 3, 9.
- Галайда, Анатолий, 1935: 'Стоит сосна у синей котловины...', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 4, 31.
- Горчева, Алла, 1996: *Пресса ГУЛАГа (1918-1955)*, Москва: Издательство МГУ.
- Горчева, Алла, 2009: *Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой*, Москва: Издательство МГУ.
- Домбровский, 1935: 'Лодырь Лейка', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 4, 33-35.
- Еланцева, Ольга, 2000: *БАМлаг в контексте истории и литературы. Из фондов дальневосточных библиотек, Владивосток: Издательство ДВГУ*.
- Жагир, П, 1935: 'Два дня', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 3, 11-15.
- Жагир, П, 1935: 'Дочь чекиста', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 4, 25-29.
- Исаковский, Михаил, 1981: *Собр. соч.: в 5 т. Т. 1: Стихотворения. Песни. Поэмы*, Москва: Художественная литература.
- Корганова, Мария, 2015: 'Из истории начального этапа развития прессы ГУЛАГа: периодика Соловецкого лагеря особого назначения. 1924-1930 гг.', *Вопросы правоведения*, 5, 440-459.
- Кружинин, И, 1935: 'Трубка рецидивиста', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 4, 37-38.

- Лермонтов, Михаил, 1988: *Соч.: в 2 т. Т. 1: Стихотворения: 1828–1841 гг. Поэмы*. Москва, Правда.
- Лотман, Юрий, 1988: *В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: кн. для учителя*. Москва, Просвещение.
- Плотникова, Анастасия, 2023: 'Материалы Дмитровского исправительно-трудового лагеря в московском Архиве А.М. Горького 1928-1936 гг.', *Вестник архивиста*, 1, 301-312.
- Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 1935: 4, 1-49.
- Рудык, Д., 1936: 'Вещи, люди, события', *Путеармеец: литературно-художественный журнал БАМлага НКВД*, 5, 8-12.
- Смыковская, Татьяна, 2023: *Литература БАМлага как художественный феномен: монография*, Благовещенск: Издательство БГПУ.
- Смыковская, Татьяна, 2024: 'Личность и творчество Максима Горького на страницах прессы ГУЛАГа 1930-х годов', *Australian Slavonic and East European Studies*, 38, 1-25.
- Солженицын, Александр, 2010: *Собр. соч.: в 30 т. Т. 6: Архипелаг ГУЛАГ: Опыт художественного исследования. Части V–VII*. Москва: Время.
- Солженицын, Александр, 2016: *Собр. соч.: в 30 т. Т. 18: Раннее*. Москва: Время.
- Шаламов, Варлам, 2018. *Колымские рассказы*. Москва: Детская литература.
- Эпштейн, Михаил, 2007: *Стихи и стихи. Природа в русской поэзии XVIII – XX вв.* Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М».
- Draskoczy, Julie, 2014: *Belomor: Criminality and Creativity in Stalin's Gulag*, Boston: Academic Studies Press.

Gullotta, Andrea, 2018: *Intellectual Life and Literature at Solovki 1923-1930: The Paris of the Northern Concentration Camps*, NED-New edition, Modern Humanities Research Association.

Lahusen, Tomas, 1997: *How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia*, New York: Cornell University Press.

RENÁTA GREGOVÁ

**SOUND SYMBOLISM AND PHONAESTHEMES IN SLOVAK:
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ANALYSIS***

ABSTRACT

Phonaesthemes are phonetic units demonstrating non-arbitrary sound-meaning associations that challenge the traditional linguistic principle of arbitrariness. While extensively studied in English and other Germanic languages, sound-symbolic patterns in Slovak remain relatively unexplored. This study investigates whether phonaesthemes exist in Slovak and, if so, what methodological approaches can effectively identify them. The research employed a three-component methodology: corpus-based frequency analysis, etymological investigation, and psycholinguistic experimentation with native speakers. Analysis of allegedly universal phonaesthemes (*gl-*, *sn-*, *fl-*, etc.) revealed no genuine phonaesthetic behaviour in Slovak, while investigation of Slovak-specific consonant clusters (*šm-*, *št'-*, *chr-/xr-/*, *fr-*, *šl'-*) identified consistent sound-meaning patterns predominantly in expressive and onomatopoeic vocabulary. Psycholinguistic experiments with 40 university students validated these patterns, demonstrating alignment between etymological findings and native speaker perceptions. The findings suggest that phonaesthetic patterns are fundamentally language-specific rather than universal.

Keywords: phonaestheme; sound symbolism; Slovak; corpus-based method; psycholinguistic experiment

* The research was originally presented at the conference *Word-Formation Theories VII & Typology and Universals in Word-Formation VI* in Košice, Slovakia, 25-28 June, 2025.

1. Introduction

Phonaesthemes are phonetic units that demonstrate non-arbitrary sound-meaning associations, thereby challenging the traditional linguistic principle of arbitrariness. A well-documented example is the initial sound combination *gl-* in English words such as *glimmer*, *glitter*, and *glisten*, which functions as a phonaestheme associated with vision or light (Drellishak 2006, 2). The concept of phonaesthemes was first introduced by Firth (1930) and subsequently developed by Marchand (1959) and Bergen (2004), among others. Phonaesthemes have gained considerable attention in English linguistics, as evidenced by resources such as the American TESOL institute's website dedicated to phonaesthemes (<https://americantesol.com/phonesthemes.html>), which offers a Periodic Table of Phonaesthemes suggesting the potential language-universal nature of sound-meaning associations. Beyond English, extensive research has been conducted on phonaesthemes in other Germanic languages, as well as in East Asian languages (e.g., Bolinger 1975; Benczes 2019; Williams 2013). While some researchers consider the existence of phonaesthemes, particularly in English, to be well-established, others, such as Abramova and Fernández (2016, 343), characterise phonaesthemes as a ‘controversial and unstudied phenomenon’. Flaksman (2024, 67), in her diachronic analysis of phonaesthemic sequences, classifies ‘words of phonaesthemic groups as a marginal category of imitative words’.

Regarding the Slovak language, one of the West Slavic languages, sound-symbolic patterns remain relatively unexplored. Brief discussions of this topic can be found in Sabol and Zimmermann (2014) and Körtvélyessy (2024); however, no comprehensive study has been undertaken to examine the possible occurrence of phonaesthemes in Slovak. Indeed, Slovak linguistic literature lacked even a term for phonemic sequences hypothesised to convey particular meanings until 2018, when the Slovak

term *fonestéma*, as a translation of English *phonaestheme*, was introduced by Bilá et al. (2018) in their *Handbook of English and Slovak Linguistics Terminology*.

The absence of the term *fonestéma* ‘phonaestheme’ in Slovak linguistic terminology does not, however, indicate a complete lack of research into possible sound-meaning associations in Slovak. Research on the role of phonetic elements in semantic construction has been primarily conducted by Sabol (1988, 1989, 2005, 2014), who has devoted considerable attention to the analysis of sound organisation in poetry, particularly examining how phonemes are structured in verse. For instance, Sabol’s (1988) analysis of the poem *Večer* (‘Evening’) by M. Válek demonstrated that the organisation of sounds /p, s, t/tʰ, st/stʰ, sp/: ‘[...] helps create the picture of night, of even apocalyptic dark atmosphere in which we can hear the flight of a lonely raven’ (ibid., 136-137), as illustrated in the following example:

Letí havran ponad pusté lesy,
 ‘The raven flies over the desert forest’
v pustom poli postel’ ustelie si
 ‘In the desert field, it makes up its bed’
opustený spáč
 ‘lonely sleeper’

Based on his extensive research into the phonology of Slovak, Sabol (2014, 148-150) concluded that special combinations of sounds or phonemes convey additional meaning only within poetry and expressive vocabulary. Importantly, the author noted that such meaning can only be interpreted through the semantic content of the lexical units employed in particular verses.

In light of the limited previous research on sound-meaning associations in Slovak, extensive investigation is required to determine whether phonaesthemes exist

in this language. The present study aims to fill in this gap. The research methodology and findings are presented in the following sections.

2. Searching for phonaesthemes in Slovak

Undertaking phonaesthetic research in any language starts with fundamental methodological questions: determining the appropriate starting point for investigation, selecting suitable linguistic material for analysis, and establishing systematic criteria for phonaestheme identification.

2.1 Methodological approaches to analysis

Previous research on phonaesthemes reveals an interesting methodological paradox. While psycholinguistic experiments have consistently demonstrated that knowledge of sound meaning associations is a part of mental grammar (Hutchins 1998, Bergen 2004), the primary challenge lies not in developing methods for evaluating phonaesthetic phenomena, but rather in identifying which sound combinations deserve investigation as possible phonaesthemes.

Hutchins (1998), for example, established foundational evaluation techniques through questionnaire-based studies asking participants to rate sound-meaning associations, while Bergen (2004) employed morphological priming studies to test phonaesthetic comprehension. Both researchers confirmed the psychological reality of phonaesthetic knowledge, yet as Drellishak (2007, 9) adds: ‘[...] which phonesthemes? [...] to evaluate phonesthemes, we need phonesthemes to evaluate [...]’. The author proposed three computational methods for phonaestheme detection based on Latent Semantic Analysis, applying them to Webster’s 1913 Dictionary definitions treated as documents in a term-document matrix. The clustering method, which grouped definitions by similar word feature vectors. The Relative Word Frequency (RWF) method, calculating ‘the ratio of these two values’ (frequency in the phonaestheme set divided

by frequency in the whole dictionary). And the Mutual Information (MI) method, successfully ranking definition words by their correlation with candidate phonaesthemes (Drellishak 2006). Of the three computational approaches tested, only the Mutual Information (MI) method proved viable for phonaestheme detection. The clustering and Relative Word Frequency methods failed because of interference from morphological relationships and statistical artifacts, respectively (ibid.).

Abramova and Fernández (2016) addressed the challenge of phonaesthemes through computational linguistics, developing sophisticated validation methods using word embeddings to analyse predetermined two-consonant units. Their approach employed stricter evaluation criteria than previous studies, comparing candidate phonaesthetic clusters against baseline clusters which share random two-consonant prefixes while implementing morphological diversity controls. The researchers successfully validated six prefixes (*bl-*, *gl-*, *sm-*, *sn-*, *sw-*, *tw-*) and developed an unsupervised centroid-based method for automatically deriving phonaesthetic meanings, substantially outperforming their previous WordNet-based approaches. Although the research proposed a method for automatically determining the meanings of phonaesthemes, human evaluators confirming the new method's results were still necessary (for details, see Abramova and Fernández 2016).

The evolution from Hutchins's (1998) and Bergen's (2004) works to Abramova and Fernández's (2016) computational approaches illustrates how evaluation techniques for phonaesthemes have grown increasingly sophisticated and reliable. Nevertheless, a major challenge remains: the systematic identification of which sound combinations represent suitable candidates for phonaesthetic analysis.

Given this theoretical foundation, I chose to begin my investigation of phonaesthemes in Slovak using the Periodic Table of Phonaesthemes from the American TESOL Institute website (see above) as my analytical starting point. Since these pho-

naesthemes are considered universally valid across languages (Table 1), their phonaesthetic behaviour in Slovak can reasonably be assumed.

Phonaestheme	Suggested meaning (examples)
gl-	light, vision (glimmer, glow, gleam, glitter)
sn-	nose, unpleasant smells (sniff, sneeze, snore, snarl)
fl-	quick movement, flowing (flicker, flutter, flap, flow)
bl-	sound emission, bursting (blare, blast, blubber, blurt)
sp-	sudden actions, liquids (spark, splash, spurt, spatter)
tr-	pulling, dragging (trail, trudge, trample, tract)
cl-	closure, clinging (clasp, clutch, clamp, cling)
gr-	roughness, displeasure (great, growl, grumble, grime)
cr-	breaking, crunching sounds (crack, creak, crunch, crush)
sw-	smooth, sweeping movements (sweep, sway, swink, swirl)
sl-	smooth, slippery movement (slide, slip, slither, slalom)
br-	breaking, abruptness (break, burst, brittle, brunt)
dr-	drawing out, draining (drip, drain, drawl, dredge)
wr-	twisting, turning (wring, writhe, wrench, wrong)

Table 1: Phonaesthemes with language-universal nature

(<https://americantesol.com/phonesthemes.html>)

The evaluation methodology used here incorporates three complementary approaches: (I) corpus-based analysis of potential phonaesthetic clusters; (II) etymological investigation of identified phonaesthetic combinations; and (III) psycholinguistic experiments with native speakers. The corpus-based analysis (2.2) serves to assess the frequency of occurrence of target clusters within the Slovak language to find out if those clusters with possible language-universal occurrence are also the part of Slovak vocabulary or not. The etymological investigation (2.3) ensures that words containing potential phonaesthemes are not etymologically related, thereby confirming their phonaesthetic rather than historical connections. Finally, psycholinguistic experiments

(2.4) will reveal the psychological reality of identified possible phonaesthemes within the mental lexicon of native speakers.

2.2 A corpus-based analysis

Since Slovak phonotactic possibilities and constraints differ from those of English – the language on which the cross-linguistically valid phonaesthemes were based (Table 1) – it was necessary to revise these clusters from a Slovak perspective. This revision involved excluding phonotactically impermissible combinations and focusing on pronunciation rather than orthography, as Table 1 captures the graphic form of sequences (consider, for example, *cr-* in *crunch*). Unlike English, Slovak exhibits a more transparent relationship between orthography and pronunciation. Table 2 presents ‘candidate phonaesthemes’ (adapting Abramova and Fernández’s 2016 terminology) that may occur in Slovak, along with their frequency of occurrence, as attested in the Slovak National Corpus (<https://korpus.sk>). The analysis focused exclusively on word-initial occurrences, with the table providing frequency lists of all lemmas beginning with each consonant cluster (Table 2). The numbers in Table 2 reflect both base words and their derivatives, meaning that individual word stems beginning with specific sound combinations appear multiple times. Furthermore, this initial frequency analysis encompasses both domestic and foreign words.

Phonaestheme	Number of lemmas	Total frequency
gl-	566	116,068
sn-	578	1,050,543
fl-	692	115,600
bl-	1,249	974,730
sp-	5,209	10,828,122
tr-	5,086	7,628,119

gr-	1,350	458,123
kr-	3,436	5,617,616
sv-	1,478	7,679,663
sl-	2,457	5,115,127
br-	2,017	1,965,785
dr-	1,839	3,514,029

Table 2: Frequency list of all lemmas starting with the given candidate phonaestheme

Consequently, it became necessary to select only those lemmas that occur once, that is, basic words rather than their derivatives. In other words, I needed to identify morphologically distinct lemmas only. For instance, the initial cluster *sp-* appears in lemmas such as *spálňa* ‘bedroom’, *spálnička* ‘little bedroom’, *spálňový* ‘of the bedroom’, *spáliť* ‘to burn down’, *spaľovací* ‘combustion’, *spaľovňa* ‘incinerator’, *spamätávať sa* ‘to come to one’s senses’, *spamätať sa* ‘to recover’, *spanie* ‘sleeping’, *spánok* ‘sleep’, and *spať* ‘to sleep’. Only those lemmas containing unique word stems were considered – in this case, *spať* ‘to sleep’, *spáliť* ‘to burn down’, and *spamätať sa* ‘to recover’. This process required manual evaluation with the help of the *Corpus Morphology Database* (<https://korpus.sk/korpusy-a-databazy/databazy/morfologicka-databaza/>) and *Morphemic Dictionary of Slovak* (Sokolová et al. 1999) to exclude repetitions and foreign words. The results show markedly different frequency patterns for basic words, as only types rather than tokens were considered (Table 3).

Phonaestheme	Frequency of occurrence of basic word (types)
gl-	15
sn-	16
fl-	20
bl-	28
sp-	79

PHONAESTHEMES IN SLOVAK

tr-	68
gr-	31
kr	90
sv-	32
sl-	43
br-	63
dr-	52

Table 3: Frequency list of the types of basic words starting with the given candidate phonaestheme

In summary, the corpus-based analysis examining initial consonant clusters with proposed language-universal phonaesthetic properties, combined with manual evaluation of all lemmas containing these clusters to identify basic rather than derived word types, demonstrates that all candidate phonaesthemes occur with considerable frequency in the domestic Slovak vocabulary.

2.3 Etymological investigation

The primary objective of detailed etymological investigation of word stems beginning with candidate phonaesthetic clusters, as already mentioned, was to determine whether they demonstrate genuine phonaesthetic behaviour, that is, whether they occur in words connected by shared meaning. All words starting with the relevant consonant clusters were analysed semantically using Králik's (2015) *Concise Etymological Dictionary of Slovak*. The results reveal that none of the consonant clusters with potential cross-linguistic phonaesthetic properties (Table 3) can be considered genuine phonaesthemes in Slovak. The words containing these clusters have diverse meanings and are not only morphologically, but also semantically, heterogeneous, showing no detectable connections in their semantic content.

Given that the corpus-based and etymological analyses of allegedly universal phonaesthemes yielded negative results for Slovak, it became clear that a third method – psycholinguistic experimentation – would be unnecessary for this particular dataset. However, rather than concluding the investigation at this point, I decided to shift my analytical focus based on emerging evidence that phonaesthetic patterns are largely language-specific, as already indicated above (see, for example, Abramova and Fernández 2016; Flaksman 2024), and find new material in Slovak for analysis.

3. New Material for Analysis

The set of allegedly universal phonaesthemes (Table 1) appears to be valid primarily in genetically related languages, such as Germanic and Romance languages, but not in Slovak. Consequently, I redirected my attention toward genuine Slovak consonant clusters that may show sound-symbolic behaviour, as documented in analyses of Slovak poetry and expressive vocabulary (see also above).

Sabol and Ondruš (1989, 160) note that certain sound combinations possess distinctive expressive colouring. For instance, the combinations *chm-* (as in *chmuľo* ‘blockhead’), *chň-* (as in *chňap* ‘to grasp’ expressively), *čm-* (as in *čmudiť* ‘to smoke’ expressively), and *fl-* (as in *flasnúť* ‘to smack’ expressively) are characteristic of expressive vocabulary. This new analytical material – potential phonaesthetic patterns extracted from sources investigating the stylistic application of sounds (Sabol and Zimmermann 2014) – is presented in Table 4.

Consonant cluster	Suggested meaning (examples)
šm-	quick, light movements or unpleasant sensations (šmýkať sa ‘to slide’)
šť-	quick, light movements or unpleasant sensations (šťikútať ‘to hiccup’)
chr-	rough sounds or actions (chrčať ‘to rasp/crackle’, chrápať ‘to snore’)

PHONAESTHEMES IN SLOVAK

fr-	quick, light movements or flying (frnknút' 'to dash away', frčat' 'to whizz')
šl'	wet or slimy conditions (šl'apat' 'to step/tread', šl'ahat' 'to whip/lash')

Table 4: Potential Slovak phonaesthemes

3.1 Corpus-based analysis and etymological investigation

The corpus-based frequency analysis and etymological investigation of potential meaning connections brought the following findings:

The consonant cluster *šm-* demonstrates a consistent pattern of occurrence in colloquial and expressive lexical items, typically exhibiting pejorative semantic colouring. This phoneme sequence appears predominantly in words of onomatopoeic origin, as exemplified by *šmahom* 'in a flash'.

The initial consonant sequence *št'* shows semantic coherence in lexical items whose meanings relate to liquids. All identified instances are derived from onomatopoeic origins, as demonstrated by *št'ava* 'juice'. Additionally, this sound sequence occurs in *šetina* 'bristle' (relating to individual hairs from fur or bristle-based implements), *štiepať* 'to cleave', *štipka* 'chip/splinter', and *štebotáť* 'to chatter', all of which similarly trace to onomatopoeic etymology.

The potential phonaestheme *chr-/xr-/* manifests itself in expressive lexical items with pejorative connotations (*chrapúň* 'snorer/loud breather') and in words of onomatopoeic origin, including *chrápať* 'to snore' and *chrčať* 'to rattle/gurgle'.

The consonant cluster *fr-* occurs with considerable frequency in expressive vocabulary (*fras* 'fright/shock') and onomatopoeic words denoting rapid movement, such as *frčať* 'to whizz', *frmol* 'bustle', and *frndžať* 'to rush about'.

Finally, the combination *šl'* appears in both expressive lexical items (*šlak* 'stroke/blow') and words of onomatopoeic origin (*šliapať* 'to step/tread').

The analysis reveals that all lexical items containing the identified phonaesthetic clusters belong to peripheral vocabulary domains, specifically pejorative and expressive registers, rather than neutral lexicon, with a predominant representation of onomatopoeic formations. This distribution pattern supports the hypothesis that these consonant sequences function as ‘meaning-indicating’ items in Slovak, carrying consistent semantic and stylistic associations across the examined corpus, thus providing the foundation for the crucial component of phonaesthetic investigation: psycholinguistic experiments.

3.2 Psycholinguistic experiments

The potential phonaesthetic clusters identified in Table 4 were subjected to psycholinguistic experiments with native Slovak speakers to validate the psychological reality of their perception. Bergen (2024) suggests three primary methodological approaches for such validation: (a) sound symbolism rating tasks, (b) word association tasks, and (c) implicit association tasks. To investigate potential unconscious associations between the identified Slovak sound patterns (*šm*, *št*, *chr*, *fr*, and *šl*) and their semantic implications, a comprehensive experiment based on (b) word association tasks was designed.

The initial phase of this experiment used a pre-experimental questionnaire comprising two distinct components. In the first section (Perception of Sounds) of this anonymous questionnaire, respondents were asked to write down their immediate feelings and associations evoked by each given sound sequence (see Appendix). The second component (Perception of Words) presented participants with nonsense words containing the target phoneme combinations (*šmelko*, *šťukľan*, *chraliň*, *frimka*, *šľamka*) and required meaning identification through multiple-choice selection (see Appendix).

PHONAESTHEMES IN SLOVAK

The study involved 40 university students aged between 20-25 years who participated in this pre-experimental phase. The results from the first component are summarised in Table 5, while Table 6 presents the findings from the second component.

Potential phonaestheme	Most frequent responses
šm	silence, library, interesting, calming, noise, interest, unpleasant
šť	influence on concentration, anger, unpleasant emotion, sth. quick, sharp
chr /xr/	choking, sleep, neutral, sleepy, rustling, unpleasant, crackling
fr	sudden exhalation, wind, flying insect, calming, speed, disgust, enthusiasm, splashing, sound of a horse, splashing of water
šp	confusion, running in the rain, slurping water by a dog, whipping

Table 5: Respondents' associations for sound sequences

Nonsense word	Most frequent meaning attribution
šmelko	fast, small
šťukľan	dull
chralúň	noisy, unpleasant
frimka	light, movement, insult
šľamka	sth. dirty, dim, wet

Table 6: Meaning perception of nonsense words

The results of these psychological pre-experimental tasks (Tables 5 and 6) demonstrate considerable alignment with the etymological evaluation of the analysed sound combinations (3.1). All potential phonaesthemes are perceived through their onomatopoeic characteristics, indicating that language users interpret them as acoustic imitations of specific sounds. This finding is in accordance with Flaksman's observation that certain words function as both 'onomatopoeic, as well as phonaesthetic' (Flaksman 2024, 68).

4. Conclusions

This study employed a three-component methodology – corpus-based analysis, etymological investigation, and psycholinguistic experimentation – to identify and analyse phonaesthemes in Slovak, a language where sound-symbolic patterns have remained relatively unexplored.

The investigation brought contrasting results across two analytical phases. Initially, allegedly universal phonaesthemes from the American TESOL Institute's Periodic Table (*gl-*, *sn-*, *fl-*, *bl-*, *sp-*, *tr-*, *gr-*, *kr-*, *sv-*, *sl-*, *br-*, and *dr-*) were examined. While corpus analysis confirmed their considerable frequency in Slovak vocabulary, etymological investigation revealed that none demonstrated genuine phonaesthetic behaviour. Words containing these clusters showed semantically heterogeneous meanings with no identifiable connections, providing strong evidence that these supposedly universal phonaesthemes do not function as such in Slovak. This finding challenges the notion of cross-linguistic phonaesthetic universality and indicates the necessity of language-specific investigation.

The second analytical phase, focus on consonant clusters identified in Slovak poetry and expressive vocabulary (*šm-*, *št'-*, *chr-/xr-/*, *fr-*, and *šl'-*), produced substantially different results. Etymological analysis revealed consistent patterns: *šm-* demonstrated pejorative semantic colouring in colloquial expressions, *št'-* showed semantic coherence in words related to liquids, *chr-/xr-/* appears in expressive items with pejorative connotations, *fr-* occurred frequently in words denoting rapid movement, and *šl'-* was found in both expressive and onomatopoeic items. Critically, all identified clusters occur predominantly in peripheral vocabulary domains, specifically pejorative and expressive registers with strong representation of onomatopoeic formations. Psycholinguistic experiments with 40 native speakers validated these patterns. Results from both sound sequence association tasks and nonsense word meaning attribution

tasks demonstrated considerable alignment with etymological findings. Participants consistently perceived the potential phonaesthemes through their onomatopoeic characteristics, interpreting them as acoustic imitations of specific sounds. Thus, initial research into phonaesthemes in Slovak suggests that phonaesthetic patterns are fundamentally language-specific rather than universal.

Having found a way to reach the goal of determining whether Slovak also has true phonaesthemes or not, future research should incorporate several methodological improvements. First, the application of reliable computational linguistic methods would enable more systematic identification of clusters with potential sound-meaning associations. Second, the investigative scope should expand beyond word-initial positions to include word-medial and word-final sound combinations. Third, increasing the number of participants in psycholinguistic experiments and more refined psycholinguistic experiments themselves would enhance the statistical reliability of findings.

Acknowledgement

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency (APVV), grant no. APVV-23-0027.

REFERENCES

Abramova, Ekaterina, and Fernández, Raquel, 2016: ‘Questioning Arbitrariness in Language: A Data-Driven Study of Conventional Iconicity’, in: *Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* (NAACL-HLT 2016), San Diego, CA: Association for Computational Linguistics, pp. 343-352.

- Benczes, Réka, 2019: *Rhyme over Reason: Phonological Motivation in English*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bergen, Benjamin K., 2004: 'The psychological reality of phonaesthemes', *Language*, 80/2, 290-311.
- Bolinger, Dwight, 1975: *Aspects of Language*, 2nd edn, New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Bowles, Hugo, 1995: 'The semantic properties of the phonaestheme', *Studi italiani di linguistica teorica ed applicata*, 24/1, 91-106.
- Drellishak, Scott, 2006: *Statistical Techniques for Detecting and Validating Phonesthemes*, Seattle: University of Washington.
- Drellishak, Scott, 2007: *Phonesthemes*, <https://depts.washington.edu/uwcl/matrix-/sfd/Drellishak%20%20Phonesthemes%20Slides.pdf> [accessed 29/6/2026]
- Flaksman, Maria, 2024: *An Etymological Dictionary of English Imitative Words*, Munich: Peter Lang.
- Hutchins, Sharon S., 1998: 'The psychological reality, variability, and compositionality of English phonesthemes', unpublished doctoral thesis, Emory University, Atlanta.
- Körtvélyessy, Livia, 2024: 'On the patterning of sound imitation by onomatopoeia in Slovak', *Zeitschrift für Slawistik*, 69/4, 695-746.
- Králik, Ľubor, 2015: *Stručný etymologický slovník slovenčiny*, Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV.
- Marchand, Hans, 1959: 'Phonetic symbolism in English word-formations', *Indogermanische Forschungen*, 64, 146-168.
- Sabol, Ján, 1988: *Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy. Výberová prednáška*, Košice: Rektorát Univerzity P. J. Šafárika.

- Sabol, Ján, 1989: 'Zvuková štylistika a štylistika zvuku', in: Mistrík, Ján (ed.), *Textika a štylistika. Zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie, Bratislava 29. 1 – 31. 1. 1986*, Bratislava: Univerzita Komenského, pp. 187-194.
- Sabol, Ján; Ruščák, František, and Sabolová, Oľga 2005: *Interpretačné variácie umeleckého textu*. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis, Monographia, 57 (AFPh UP 123/205), Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
- Sabol, Ján, and Zimmermann, Július, 2014: *Akusticko-auditívna komunikácia*, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.
- Sokolová, Miloslava; Moško, Gustáv; Šimon, František and Benko, Vladimír 1999: *Morfematický slovník slovenčiny*, Prešov: Náuka.
- Williams, Jeffrey P. (ed.), 2013: *The Aesthetics of Grammar: Sound and Meaning in the Languages of Mainland Southeast Asia*, Cambridge: Cambridge University Press.

Online Sources

- American TESOL Institute: 'Phonesthemes', <https://americantesol.com-phonesthemes.html> [accessed 29/6/2026]
- Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV: 'Morfológická databáza', <https://korpus.sk-/korpusy-a-databazy/databazy/morfologicka-databaza> [accessed 29/6/2026]
- Slovenský národný korpus – prim-10.0-public-all, 2022, Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, <https://korpus.sk> [accessed 29/6/2026]

RENÁTA GREGOVÁ

Anonymný dotazník:

1. Vek: _____
2. Je slovenčina váš materinský jazyk? ☐ Áno ☐ Nie

Časť 1: Vnímanie zvukov

Inštrukcie: Pri každej z nasledujúcich skupín hlások uveďte, aký pocit alebo predstavu vo vás vyvoláva. Neexistujú správne ani nesprávne odpovede.

1. Aký pocit alebo predstavu vo vás vyvoláva zvuk **šm**?

2. Aký pocit alebo predstavu vo vás vyvoláva zvuk **št**?

3. Aký pocit alebo predstavu vo vás vyvoláva zvuk **chr**?

4. Aký pocit alebo predstavu vo vás vyvoláva zvuk **fr**?

5. Aký pocit alebo predstavu vo vás vyvoláva zvuk **šp**?

Časť 2: Vnímanie slov

Inštrukcie: Prečítajte si nasledujúce slová a odpovedzte na otázky.

1. Slovo **šmelko** označuje: ☐ Niečo veľké ☐ Niečo malé ☐ Niečo rýchle ☐ Niečo pomalé ☐ Niečo hladké ☐ Niečo drsné ☐ Iné (uveďte): _____

2. Slovo **štukľan** označuje: ☐ Niečo mäkké ☐ Niečo tvrdé ☐ Niečo ostré ☐ Niečo tupé ☐ Niečo okrúhle ☐ Niečo hranaté ☐ Iné (uveďte): _____

3. Slovo **chralúň** označuje: ☐ Niečo príjemné ☐ Niečo nepríjemné ☐ Niečo drsné ☐ Niečo jemné ☐ Niečo hlučné ☐ Niečo tiché ☐ Iné (uveďte): _____

4. Slovo **frimka** označuje: ☐ Niečo statické ☐ Niečo pohyblivé ☐ Niečo ľahké ☐ Niečo ťažké ☐ Niečo teplé ☐ Niečo studené ☐ Iné (uveďte): _____

5. Slovo **šľamka** označuje: ☐ Niečo suché ☐ Niečo mokré ☐ Niečo čisté ☐ Niečo špinavé ☐ Niečo lesklé ☐ Niečo matné ☐ Iné (uveďte): _____

Ďakujeme vám za vyplnenie tohto dotazníka!

Vaše odpovede nám pomôžu lepšie porozumieť tomu, ako vnímame zvuky v slovenčine.

Appendix: Form used for survey

KARINA STEMPEL-GANCARCZYK

LINGUISTIC PURISM IN PODHALE (POLAND)*

Abstract

The article examines the ideology of linguistic purism in the Podhale region of Poland, focusing on its historical roots, social motivations and contemporary manifestations. Purism is conceptualised as an ideology aimed at protecting a language from external influences and internal changes considered undesirable, thereby maintaining its perceived 'purity'. The study highlights how puristic attitudes are intertwined with broader language ideologies such as authenticity, language ownership and the concept of legitimate speakers. Based on ethnographic observations and analysis of public discourse, the article shows that linguistic purism in Podhale is strongly linked to local identity and cultural heritage, often functioning as a boundary marker distinguishing insiders from outsiders. The research also addresses tensions arising from contact with tourism, migration and media influences, which challenge traditional notions of linguistic authenticity and legitimacy. The findings contribute to our understanding of how language ideologies shape identity, social cohesion and attitudes toward language change in regional and minority communities.

Keywords: linguistic purism, language ideology, authenticity, Podhale, language ownership

* This work was supported by the National Science Centre, under grant Sonata-Bis 'Linguistic diversity in Poland: collateral languages, language-oriented activities and conceptualisation of collective identity' (2020/38/E/HS2/00006).

1. Introduction: what is linguistic purism?

Linguistic purism is a phenomenon found in many linguistic communities, often accompanying processes of standardisation and language planning. The ideology of purism is based on the belief that language should be ‘protected’ from foreign influences and internal changes considered unfavourable, that its ‘purity’ should be preserved and that certain forms considered correct should be perpetuated. According to this ideology, there are ‘proper’ and ‘pure’ forms of language and those that are ‘contaminated’ or ‘incorrect’ (Woolard, Schieffelin 1994; Trask 1999). According to Nils Langer and Agnete Nesse, the goal of the purist approach is to achieve ‘purity’ of language, analogous to the ‘purification’ of substances in the natural sciences. However, since language cannot be defined by a formula (unlike, for example, water), the concept of ‘purity’ can be defined in different ways, depending on the perspective taken (Langer, Nesse 2012, 608-609). David Crystal (2006, 381) sees purism as ‘a school of thought which sees a language as needing preservation from external processes which might infiltrate it and thus make it change’, while one of the most famous definitions of linguistic purism is that found in George Thomas’s classic work *Linguistic Purism* (1991, 12):

Purism is the manifestation of a desire on the part of a speech community (or some section of it) to preserve a language from, or rid it of, putative foreign elements or other elements held to be undesirable (including those originating in dialects, sociolects and styles of the same language). It may be directed at all linguistic levels but primarily the lexicon. Above all, purism is an aspect of the codification, cultivation and planning of standard languages.

Given that all linguistic diversity is the result of linguistic contact, it is difficult to define clear and indisputable criteria for the ‘purity’ of a given code. It can, therefore, be argued that purism is a matter of degree, and even that to some extent we are all linguistic purists, because ‘it is hard to imagine that anyone is ready to approve of everything in the way people speak and write’ (Bańko 2023, 16). It is often argued that older forms of language (e.g., those used by the oldest generation) are more ‘pure’ and deserve to be preserved or recreated (Thomas 1991; Spolsky 2009). Like other linguistic ideologies, linguistic purism is also used to draw conclusions about people who use certain linguistic forms (Woolard 2005; Dołowy-Rybińska, Hornsby 2021; Dołowy-Rybińska 2021/2022).

The ideology of linguistic purism is closely linked to the ideology of authenticity, the ideology of language ownership and the ideology of the legitimate speaker. The ideology of linguistic authenticity refers to the belief that certain forms of language are more ‘true’ than others, i.e. that they represent a given culture more fully. The authenticity of language is sometimes seen as an essential element of cultural identity and entails the evaluation of its various forms (Woolard 2005; Coupland 2003). A speaker is considered ‘authentic’ if their way of speaking is identified by the community as being associated with a particular group and place. The ideology of authenticity is, therefore, linked to territoriality and locality.

The ideology of language ownership is the belief that language, as a resource, belongs to a social, ethnic or national group and is an essential element of identity (Woolard, Schieffelin 1994). This resource can be shared or denied to others. Language is often considered the foundation of national, ethnic or cultural identity. This ideology, strongly linked to linguistic purism, is often associated with actions aimed at protecting the language from foreign influences, borrowings or degradation. It can lead to the belief that only a ‘native speaker’, i.e. a person born and raised in a group

that has learned the language at home, is able to speak that language, while other people do not have the right to do so (Sallabank, Marquis 2018; Dołowy-Rybińska 2023).

The ideology of the legitimate speaker is closely related to the other ideologies discussed above and refers to a set of beliefs about who has the ‘right’ to use a given language, how it should be used, and which varieties of the language are considered ‘correct’ in a given social or cultural context. A legitimate speaker is a person who uses the language in a way that is considered to be in accordance with social, political or cultural norms. The ideology excludes ‘unauthorised’ users and those who use the language in an ‘inappropriate’ manner. Only individuals or institutions with high symbolic capital have the right to decide who can be a legitimate language user and what is normative (Kramsch 2019; Costa 2015).

All the ideologies described above are closely interrelated and reinforce each other.

2. Conceptual framework

The research currently being conducted in Podhale is part of the project ‘Linguistic diversity in Poland: collateral languages, language-oriented activities and conceptualisation of collective identity’, carried out by a research team since 2021 in five regions of Poland: Kashubia, Masuria, Podhale, Podlasie and Silesia. The language varieties under study are referred to as ‘collateral languages’ (Wicherkiewicz 2014, 89-91). Collateral languages are codes ‘which, due to their proximity to the dominant (official, literary) language, are usually treated as its variety (dialect, vernacular). For this reason, they are often valued lower than the languages spoken by recognised minorities’ (Dołowy-Rybińska, Mętrak, 2026). The term ‘language’ in this context is used in its broadest sense, i.e. as ‘a system of signs (primarily sound, secondarily written and other) used for communication within a given community’ (Polański 2003, 269). This

allows not only for the comparison of different language varieties, but also avoids the value judgements present in the division into ‘languages’, ‘dialects’ and ‘subdialects’ (Mętrak 2021).

As part of the research project, an extensive questionnaire on ethnolinguistic vitality was prepared. The collected questionnaire data was digitised in the KOBO application and then subjected to statistical analysis using the R statistical environment (R Core Team, 2023). In addition to a percentage analysis of the responses to individual questions, 11 latent (hidden) synthetic features were identified and analysed (collective identity, language and identity, type of identity, ideology of language ownership, ideology of collateralism, language practices, subordination/affirmation, emotions, aversion to using language in public places, negative experiences, profits) and two basic characteristics: intergenerational language transmission and language competence.

A total of 246 questionnaires were collected in Podhale. The research was supplemented by in-depth qualitative research (ongoing from 2021) – interviews combined with participant observation and analysis of language practices in relation to spoken and written texts.

2.1 Description of the research area

Podhale is located in the upper Dunajec River basin and borders the Tatra Mountains to the south, Spisz to the east, Orawa to the west, and the Gorce mountain range to the north (Rak 2015, 32; Lehr, Tylkowa 2000, 11-15). It is a major tourist region of Poland, particularly popular for mountain tourism and winter sports practised in the Tatra Mountains, the highest mountains in Poland. An important element of the region’s promotion has been the preservation of the traditional highlander culture, characterised by its distinctiveness and durability. From the perspective of traditional Polish

dialectology, the highlander language – Góralski – is considered a subdialect (Podhale subdialect), belonging to the Lesser Poland dialect (Mazur 2001, 410-411). There are no official data on the number of people who speak the Podhale subdialect, but it is estimated at around 100,000 in Poland (Bafia 2024). Attempts to standardise Góralski have not led to the development of a single, universally accepted orthographic standard (Stempel-Gancarczyk 2026).

The culture and language of the highlanders have long been symbols of freedom and pride in Poland. Podhale became one of the favourite literary motifs during the Romantic period. The tradition of using the Podhale subdialect in literature also dates back to the ninth century. It was linked to the simultaneous creation of the myth of the highlanders, which included elements such as their strong sense of independence, life in harmony with nature, and better health than people living in the lowlands (Trebunia-Staszcz 2019, 35; Gąsienica-Giewont, Trebunia-Staszcz 2022, 36-37). In 1886, Podhale was granted the status of a ‘climatic station’ (health resort).

Until the 1990s, the region was dominated by agriculture and pastoral farming, with tourism, alongside migration (especially to the USA), merely supplementing traditional forms of livelihood (Gąsienica-Giewont, Trebunia-Staszcz 2022, 25). Currently, tourism is the main source of income for the inhabitants of Podhale. Zakopane remains the tourist centre, but other resorts are also gaining popularity, especially among winter sports enthusiasts. These include villages with well-developed tourist infrastructure, such as Bukowina Tatrzańska and Białka Tatrzańska. The development of tourism is accompanied by the growing popularity of ‘highlander culture’, which means the commercialisation of traditions and, on the other hand, forces the highlanders to reflect more deeply on their own identity.

The twentieth and early twenty-first centuries have not only seen the rise in popularity of Podhale as a tourist centre, but also the development of literature and

dialect culture. Local associations, non-governmental organisations, institutions and cultural centres are involved in promoting culture. Their activities include festivals, fairs, regional and thematic markets, outdoor events and Christmas markets. The Podhale Association (Związek Podhale), with a total of 80 branches and centres, also in other regions of Poland and abroad, plays an important role in integration and popularisation of culture. The activities of numerous regional ensembles and the broader regionalist movement are extremely important for the preservation of language and traditions (Gąsienica-Giewont, Trebunia-Staszal 2022, *passim*).

For the vast majority of highlanders, family and their loved ones are the most important thing in life (Gąsienica-Giewont, Trebunia-Staszal 2022, 98). It is family members, friends and neighbours, rather than outsiders, even those with authority, who can be considered ‘significant others’ (Berger, Luckmann 1983, 231). The important role of the family (multi-generational families, including distant relatives) and the community also translates into other elements of reality, such as language practices and language ideologies.

3. The ideology of linguistic purism in Podhale: results of qualitative research

As mentioned earlier, the survey research conducted as part of the *Linguistic Diversity in Poland* project covered five regions of Poland. The results of this quantitative research showed that Podhale is characterised by a significantly stronger ‘language ownership ideology’ than other regions. This is fundamentally linked to the ideology of linguistic purism and, therefore, also to the ideology of authenticity and legitimate speakers. For the analysis of the ideology of purism, it is important to note that Góral-ski is protected by traditional, i.e. ‘native’ and ‘authentic’ speakers, most of whom (61% of respondents) do not like it when outsiders try to learn their language, and who be-

lieve that it would be difficult or very difficult for people from outside Podhale to learn Góralski (78% of respondents expressed this opinion).

It is necessary, therefore, to examine which forms of the language in Podhale are considered by its users to be the ‘purest’ and how the ideology of linguistic purism manifests itself in interviews with the inhabitants of Podhale.

The statements of one of the oldest respondents participating in the study contain not only comments on the internal diversity of Góralski, but also opinions on how the growing popularity of the region has influenced linguistic changes. This 90-year-old resident of Zakopane, born and raised in Podhale, uses Góralski not only in speech but also in writing (he is a well-known regional artist and author of many books). First and foremost, he believes that an ‘authentic’ speaker is someone who grew up in a linguistic environment – someone who not only speaks the language, but also thinks in it. He recalls that in his childhood, the influence of Polish on the Góralski was not noticeable among his peers, but after he started school in a town where settlers from other parts of Poland were arriving, such changes were already visible. He also observes substantial changes in contemporary language practices – parents do not speak Góralski with their children. They expect that their role will be taken over by, for example, instructors in regional ensembles. However, the interviewee believes that it is impossible to learn to think ‘like a highlander’ and, therefore, Góralski, without being ‘immersed’ in it, i.e. raised alongside it from birth. If parents do not want to pass on the language to their children, no one else can replace them:

M_Podh_90¹: [...] You have to stay here, you have to get into it and you have to learn [the language], right? But you also have to think, because if you don’t know how to think like a highlander, you won’t be

¹ M – male, F – female; the number indicates the respondent’s age.

LINGUISTIC PURISM IN PODHALE

able to speak, right? [...] When we went to school in Kościelisko, [...] there were [other] children, so it was us and them, but when they spoke, they didn't know how to [speak the Podhale subdialect]. And [even though someone] had lived here all their life [...], they couldn't think [in the Podhale subdialect]. They couldn't say that sentence... [...] When they meet someone else, they can, it's their language, so how are we going to [talk, in our language, right?] And then it has an authentic value. But now there is less and less of it. Because as fewer and fewer people [speak the Podhale subdialect], it's even [difficult to talk to someone]. I used to come to the band, [and there] sometimes the mums would come [the mums of the children in the band], because I ran the band here. 'Would you teach my [daughter] or my [son] to learn the Podhale subdialect?' I say, 'Doesn't he have a mum and dad?' 'You know what, I don't know how...' Because the dads don't want to, and they don't know how anyway. [...] Am I supposed to teach them? It's like me teaching the Lord's Prayer instead of a priest, am I supposed to teach what he should be teaching?

This interviewee applies the principle of linguistic purism in his work. He points out that the Góralski differs from standard Polish in its lexical resources. In his opinion, however, this is not a flaw of the Góralski. The lack of terms, words related to certain phenomena, referents and areas of life does not mean that they have to be borrowed from standard Polish. Everything can be described using words belonging to Góralski. One manifestation of linguistic purism is an appeal to tradition. In the case of this interlocutor, his mother becomes a symbol of linguistic tradition, which leads him to formulate a creative principle: 'How should it be: wait a minute, but how would my mother start the story?'

M_Podh_90: But I think: you have to write simply. You can do it. If you try to be clever, come up with [use] terms like that, it won't work... Because there are no such terms in the vernacular, it's impossible. But if you use simple language, you can do it. Because I've read [...] others myself. For example, [someone] describes something beautifully, wonderfully: different situations. When they quote someone else's text, they use the Podhale subdialect beautifully, but when they have to describe the situation, the circumstances, nature, they switch to literary language, right? I think [...] I'll try to describe what's around me in the same way, but in Podhale subdialect, right? [...] I think to myself: well, it's possible, sure, it's not as rich and there aren't all those different expressions. You have to use what you hear around you. But it's possible. I think to myself: I'm not a writer, or a man of letters, or anything. I'll just write it as I more or less know it... I think to myself, how would it be: wait a minute, how would my mother start the story? [...] I'll try to put myself in the role, as if my mum were telling me this, right?

Many interviewees appeal to the authority of older people or texts containing archaisms that have fallen or are falling out of use. One of the Podhale activists, working in a regional folk ensemble, uses archaic texts and draws on the opinions of older people, who are the 'final authority' when it comes to knowledge about customs and rituals. An 'authentic' highlander knows better than others – even if those 'others' are ethnographers or ethnologists studying Podhale – what is 'appropriate' or 'correct' and, therefore, best reflects the local culture. As this interviewee notes, linguistic changes in Góral ski often result in the people he works with not knowing the words that appear in the performances prepared by the regional folk ensemble. However,

their knowledge is confronted with the authority of older people or archaic texts, and in this way the leaders of regional folk ensembles ensure the ‘purity’ of the message:

M_Podh_30: Our team always goes in the direction of involving seniors in the team, and I think that’s [important]. And they, when something is wrong in the script, always say: ‘It wasn’t like that, no, no, it wasn’t like that, you have to change it here, because it wasn’t like that’, and we change it, and in the end the script is created jointly. I [...] write a rough draft. And then they accept it or don’t accept it, they give advice. Because it is from the experience of the older generation that we draw on, we don’t remember these customs. [...] For example, Pentecost – we have an aunt from Biały Dunajec [...] There are different interpretations by ethnographers and ethnologists. Some wrote that it was like this, others that it was like that, but we have this knowledge here, because if someone is still alive and remembers, it’s best to draw on that, right? [...] Some wrote ‘spruce’, some wrote ‘fir’, and they wrote different things, didn’t they? And later you don’t know what [kind of tree it was], and my aunt says: ‘No, it was “larch”’, because, for example, there was a custom of decorating doors and windows on Pentecost, right? All around. And some wrote that [they were decorated] with spruce, others with beech. And in the end we didn’t know and wondered. Some wrote one thing, others wrote another, and my aunt says: ‘It was “larch”.’ [...] And that’s how these scenarios are created, it’s so vivid, isn’t it? It’s good to cultivate these customs in bands, because we don’t remember any customs anymore, and the young ones, even younger than me, don’t know anything about them, it’s disappearing. And it’s not good for it to disappear, because we need to remember our ancestors and our roots.

KSG: And you also have to deepen your knowledge of this archaic language as well, right?

M_Podh_30: Yes [...]. It's difficult for young people, because when I write a text for them, for example, they say they would say it differently, but I tell them: 'You have to stick to the text, in this instance, in this script, because I drew on these archaisms. Because that's how the language [used to be]'.

The last sentence in the above quote also illustrates the growing linguistic awareness of activists in the Podhale region. Introducing archaisms, known to the older generation but completely unknown to young people, into everyday language is one way of deepening the 'authenticity' of the language. In this case, linguistic purism entails a strong return to tradition.

A similar position is expressed by the interviewee, who, although she has highlander roots, grew up outside Podhale and, therefore, does not consider herself a highlander. However, she married a highlander and moved to one of the villages in Podhale. During the interview, she frequently discussed these issues with her husband, presenting a more radical position than he did on the issue of language and tradition. For her, linguistic 'authenticity' is not only related to phonetic features, which she is trying to learn, but above all to the lexicon, which is rooted in the language of her grandparents and great-grandparents. According to her, mixing codes, i.e. Góralski and Polish, is a threat to the 'purity' of the language. She believes that marriages with outsiders, the development of tourism, business contacts with people from outside Podhale and the influx of people from other parts of Poland into the region are causing Góralski language to become increasingly saturated with Polishisms and even Anglicisms. As a result, it is becoming a mixed code. For many highlanders (such as the

respondent's husband), these changes are 'normal', which means (from her perspective) that Góralski is becoming increasingly 'diluted' by foreign influences:

F_Podh_28: Because it's normal for you. Just as you hear both Polish and the subdialect, there's no difference for you. [...] We have more and more words that are less traditional, less highlander, which our grandparents used, and we are replacing them with Polish or even English words. So I think it's just that the dialect is becoming blurred, but if it were from the times of our grandparents and great-grandparents, it would be a language, because they already had their own words, and you could easily create a dictionary. [...] These words are disappearing somewhere. Along with our grandparents and great-grandparents, who are no longer with us [...].

The husband of the respondent quoted above confirms her conclusions about changes in vocabulary – he states that the language he uses is 'weaker' than that used by his ancestors. The ideology of linguistic purism can, therefore, be related in this case to the quality of the language used – it can be 'strong' (and thus have a more 'authentic' lexicon) or 'weak' (full of borrowings from Polish):

M_Podh_27: Yes, and I think that I, for example, speak less highlander than my parents or my grandparents. I don't have such a strong dialect anymore. Because [...] in the past, different terms were used for different things, and now, for example, we say these things in Polish and have no idea how they might sound in highlander. I don't have such a strong dialect as previous generations.

Reflections on linguistic purism in Podhale most often appear in the statements of people involved in the preservation of language and culture. One of them, who also studies the Góralski from a linguistic perspective, analyses the phonetic features he has observed, which, in his opinion, are disappearing from Góralski under the influence of standard Polish. This often happens unconsciously, which means that the ‘recognisable features’ of Góralski are disappearing from the linguistic landscape:

M_Podh_29: Highlanders are used to systematically departing from certain rules. [...] Personally, it irritates me a little. Such thoughtless abandonment of these little things, these rich, beautiful, strong rules. A lack of reflection.

This man, who belongs to the traditional Podhale community, only allows himself to comment on the language used by his closest friends and family in private conversations. During the interview, however, he comes to the conclusion that a ‘substitute for purism’, which would involve ‘inhibiting’ certain linguistic changes, might be necessary. He believes that changes occur imperceptibly to language users and that raising awareness of the linguistic features of Góralski would be a very good strategy for preserving the ‘purity’ of the language:

M_Podh_29: I never make judgements either. I observe from the sidelines, draw my own conclusions, but I don’t correct the highlanders. I think I can only bring myself to do that among my closest friends or family. Sometimes I can, I try to encourage or explain, [...] especially when I see that someone has changed something consciously. Consciously, unconsciously, but they have changed it during their lifetime. [...] So maybe some kind of purism, which I am able to bring myself to do, would be good to put the brakes on.

LINGUISTIC PURISM IN PODHALE

Linguistic purism also manifests itself in cases where, in the opinion of the highlanders, their language is used ‘incorrectly’ and/or by ‘unauthorised’ users. An illustration of this approach can be seen in the statement of a female respondent, who summarises the position of the highlanders regarding who can use their language and how (and, therefore, also who qualifies as legitimate speaker). This short quotation contains the statement that Góralski is a language reserved for people who were born and raised in Podhale. According to the respondent, an outsider is unable to learn it well enough for a highlander not to recognise a foreign accent. In addition, attempts to use Góralski in the media without consulting highlanders are met with criticism:

F_Podh_52: Sometimes, for example, there’s an advert on TV advertising something from the highlands, [...] some kind of cheese. And I always wonder what policy of theirs makes it so that they don’t come here, don’t hold a casting, how they hire people for this commercial, and don’t take someone who speaks pure Podhale subdialect so that it sounds the way it should. You can hear it, they try to speak like that, probably because they’ve listened to it a lot, I don’t know, [...] but I can hear the difference. To speak like a highlander, you have to be born here. I don’t believe that someone from Warsaw will come here and learn to speak normally, I don’t think the accent works like that. You have to be born here and hear it from an early age.

Another interviewee states that the use of Góralski in the media is ‘pretending to speak highlander subdialect’ (M_Podh_60), i.e. using an inauthentic form of the code. Such use of language, one of the key elements of the highlanders’ identity, is met with strong opposition from the highlander community.

Many people are aware that despite the growing linguistic awareness of highlander speakers and efforts to preserve the ‘purity’ of the language, the changes taking place require even the most die-hard conservatives to show some flexibility. Another respondent, an educated highlander professionally involved in education, pointed out, for example, that the lack of lexemes for new phenomena and objects means that it is necessary to introduce words from Polish into the highlander vocabulary:

F_Podh_60: And that’s where these new words in the subdialect come from. Because you can’t replace [some words]... radio won’t be ‘grajadło’ [‘something that plays’] or anything else. These new words have to appear. It’s always like that with everything. Just like with the Polish language in general. [...] Certain words inevitably have to appear in dialect, because otherwise [it’s not possible]...

Highlanders as a community find themselves in a specific sociolinguistic situation. As shown by research conducted as part of the *Linguistic Diversity in Poland* project, this is an exclusive group in terms of language – they care about its ‘purity’, exclude non-highlanders from the group of legitimate users, and are characterised by increasing linguistic awareness. At the same time, social and civilisational changes naturally interfere with the traditional, multi-generational model of life, and thus with language. Weaker transmission means that younger generations know Góralski less than their parents and grandparents. Language changes along with the community. However, the ideology of linguistic purism is strong, which is linked to an increasingly conscious protection of Góralski.

4. Summary

The ideology of linguistic purism has played and continues to play an important role in shaping linguistic norms, language policy and group identity. Although its supporters emphasise the importance of protecting culture and the uniqueness of language, critics point to prescriptivism, ideological underpinnings and the limitations of attempts to halt the natural processes of language development. Understanding purism requires consideration of its complex social, political and cultural contexts.

In Podhale, the ideology of linguistic purism manifests itself not only in fears related to the influx of people from outside who use different codes, but is also linked to the perception of linguistic changes that differentiate the language of grandparents and parents from that used by young adults and children. Globalisation requires them to participate fully in supra-local cultures and communities. Many referents, elements of the modern world, have no equivalents in the highlander language – Góral ski.

Despite the passage of time and the changes that have taken place, the ‘purity’ of Góral ski is still determined solely by those to whom the language ‘belongs’, i.e. members of the highlander community. Most often, these are authorities – older people who are members of local communities. Their opinion is deemed more important than that of others, including linguists who study the region. Although there is a noticeable tendency among younger generations to accept changes in the language as natural, there is also a focus on protecting the language from foreign influences, such as the influx of outsiders, daily contact with tourists and the commercialisation of culture. The weakening of intergenerational transmission is undoubtedly a major threat to this language. Owing to the fact that Góral ski is primarily spoken, and attempts to standardise it have not yet led to a widely accepted, ‘correct’ form of writing, it is difficult to predict the direction in which attempts to preserve the ‘purity’ of the language in Podhale will develop.

BIBLIOGRAPHY

- Bafia, Szymon, 2024: 'Językoznawca: gwara podhalańska też może stać się językiem regionalnym', Polska Agencja Prasowa, <https://www.pap.pl/aktualnosci/jezyk-oznawca-gwara-podhalanska-tez-moze-stac-sie-jezykiem-regionalnym> [accessed 24/8/2026]
- Bańko, Mirosław, 2023: 'Linguistic Purism. How can contaminations enrich a language? What determines how people react to them?', *The Magazine of the PAS*, 2/78/2023, 16-17.
- Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas, 1983: *Společne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Costa, James, 2015: 'New speakers, new language: on being a legitimate speaker of a minority language in Provence', *International Journal of the Sociology of Language*, 231, 127-145.
- Coupland, Nicolas, 2003: 'Sociolinguistic Authenticities', *Journal of Sociolinguistics*, 7/3, 417-431.
- Crystal, David, 2006: *A Dictionary of Linguistics & Phonetics. Fifth edition*, Oxford: Blackwell.
- Dołowy-Rybińska, Nicole, 2021/2022: 'Nauczanie języka kaszubskiego. Wokół ideologii języków kolateralnych', *Slavia Occidentalis*, 78/1-79/1, 25-40.
- Dołowy-Rybińska, Nicole, 2023: *Upper Sorbian Language Policy in Education. Bringing the Language Back, or Bringing It Forward?*, Leiden: Brill.
- Dołowy-Rybińska, Nicole; Hornsby, Michael, 2021: 'Attitudes and Ideologies in Language Revitalisation', in: Olko, J., Sallabank, J. (ed.), *Revitalizing Endangered Languages. A Practical Guide*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 104-126.

- Dołowy-Rybińska, N.; Mętrak, M. (eds.), 2026: *Różnorodność językowa w Polsce. Tom 1. Wspólnoty posługujące się językami kolateralnymi i ich żywotność etnolingwistyczna*, Warszawa: Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk.
- Gąsienica-Giewont, Agnieszka; Trebunia-Staszek, Stanisława, 2022: *Podhalanie. Wokół tożsamości*, Zakopane: Tatrzański Park Narodowy.
- Kramsch, Claire, 2019: 'What does it mean to be a legitimate speaker? A rejoinder to 'Theorizing the speaker and speakerness in applied linguistics'', *Journal of Applied Linguistics and Professional Practice*, 14/1-2, 213-218.
- Langer, Nils; Nesse, Agnete, 2012: 'Linguistic Purism', in H-C., J. & J. C. Conde-Sylvestre (eds.), *The Blackwell Handbook to Historical Sociolinguistics*, Oxford: Blackwell, pp. 607-626.
- Lehr, Urszula; Tylkowa, Danuta, 2000: 'Wiadomości o regionie', in: Tylkowa, D. (ed.), *Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi*, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, pp. 11-83.
- Mazur, Jan, 2001: 'Dialekty', in: Gajda, S. (ed.), *Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Język polski*, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, pp. 403-421.
- Mętrak, Maciej, 2021: 'Jak mówić o emancypujących się etnolektach?', in: Osowski, B., Kobus, J., Michalska-Górecka, P., Piotrowska-Wojaczyk, A. (eds.), *Język w regionie, region w języku 4*, Poznań: Wydawnictwo 'Poznańskie studia Polonistyczne', pp. 195-213.
- Polański, K. (ed.), 2003: *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
- Rak, Maciej, 2015: *Kulturemy podhalańskie*, Kraków: Księgarnia Akademicka.
- Sallabank, Julia; Marquis, Yan, 2018: "'We don't say it like that": Language ownership and (de)legitimizing the new speakers', in: Smith-Christmas, C., Ó Mur-

- chadha, N. P., Hornsby, M., Moriarty, M. (eds.), *New speakers of minority languages: Linguistic ideologies and practices*, London: Palgrave Macmillan, pp. 67-90.
- Sikora, Kazimierz, 2005: 'Interdialekt góralski w mediach i reklamie', in: Madejowa, M., Mlekodaj, A., Sikora, K. (eds.), *Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce). Literatura i język*, Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, pp. 258-265.
- Spolsky, Bernard, 2009: *Language Management*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stempel-Gancarczyk, Karina, 2026: 'Kto ma prawo mówić po góralsku? Wokół ideologii autentyczności na Podhalu', in: Dołowy-Rybińska, N., Mętrak, M. (eds.), *Różnorodność językowa w Polsce. Tom 1. Wspólnoty posługujące się językami kolateralnymi i ich żywotność etnolingwistyczna*, Warszawa: Instytut Sławistyki Polskiej Akademii Nauk, pp. 246-261.
- Thomas, George, 1991: *Linguistic Purism*. London: Longman.
- Trask R. L., 1999: *Language and Linguistics: The Key Concepts*, London: Routledge.
- Trebunia-Staszal, Stanisława, 2019: '*Lud zdolny do życia*'. *Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta*, Warszawa: Liber Pro Arte, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Kontekstów.
- Wicherkiewicz, Tomasz, 2014: *Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej*, Dąbrowka: Wydawnictwo Rys.
- Woolard, Kathryn A., 2005: 'Language and Identity Choice in Catalonia: The Interplay of Contrasting Ideologies of Linguistic Authority', *Journal of Pragmatics*, 37/3, 341-359.

LINGUISTIC PURISM IN PODHALE

- Woolard, Kathryn A., 2016: *Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st-Century Catalonia*, Oxford: Oxford Academic.
- Woolard, Kathryn A.; Schieffelin, Bambi B., 1994: 'Language Ideology', *Annual Review of Anthropology*, vol. 23, 55-82.

KEVIN WINDLE

**‘INTO THE UNKNOWN.’ AUSTRALIA IN 1909-1921: A POLISH VIEW. EXCERPTS FROM
PIOTR MODRAK’S *W KRAINIE KANGURA* (‘IN THE LAND OF THE KANGAROO’)***

Translator’s Introduction

Accounts of Australia as seen through Polish eyes more than a century ago are few in number. The explorer Paweł Edmund Strzelecki left a description in English of the continent as he found it in the 1830s from a geologist’s point of view (de Strzelecki 1845), and Seweryn Korzeliński and Sigurd Wiśniowski described their Antipodean travels later in the nineteenth century (Korzeliński 1858, Wiśniowski 1873), but there appear to be no further substantial accounts by Polish visitors or immigrants until 1936, when Piotr Modrak (1886-1948) published his short book *W krainie kangura* (‘In the Land of the Kangaroo’), in which he tells of the Australia he first saw before the First World War. Published in Lwów (Lviv) in an edition designed for secondary school pupils (Modrak 1936), and revised in 1947 in Warsaw (Modrak 1947), it merits the attention of Australianists and Slavists alike as one of few early books in Polish to treat the subject. The passages translated below, drawn mostly from the opening chapters, describing Queensland as a fugitive from the Russian Empire saw it in on his arrival in December 1909, may serve as an introduction to his work, complementing an existing synopsis (Windle 2025).

Modrak spent almost twelve years in Australia. He arrived in Queensland at the age of twenty-three via Siberia, where he had been exiled by the Tsarist authorities. According to his file in the Russian Ministry of Justice (see GARF), he was arrested in June 1907 in Warsaw, with an accomplice, and charged with forging official seals

* The author wishes to thank Dr Elena Govor and Dr Marian Simpson for their valuable advice and assistance.

and residence permits, in addition to membership of the Polish-Lithuanian branch of the Social-Democratic Party. Being bilingual in Polish and Russian, in Brisbane he soon fell in with the community of anti-Tsarist Russian exiles then taking shape there. (At that time Polish settlers were too few to constitute a significant 'community'.) He gave a brief account of his first two years in Australia as early as 1911, in a press article, signed 'M', in a Russian journal, when those impressions were still fresh in his mind ('M' 1911). Twenty-five years later, *In the Land of the Kangaroo*, which incorporated some of that material, gave scope for more discursive treatment. The excerpts translated here place the focus on the author himself, his arrival, initial impressions and personal experience of Queensland in those first few years. For the sake of completeness, two passages on his departure and his feelings as his ship sails from Brisbane in 1921 are also included. The intervening chapters, based largely on his research in later years and dealing with various aspects of Australian life and society, are not represented in these excerpts.

For many Eastern Europeans, settling in Australia was far from easy, and Modrak had not left Poland willingly, but it is clear that he took the difficulties of both exile and settlement in a new country in his stride. Anton Pashinskii, who reached Australia in the same year, 1909, tells of other Russian immigrants who lacked both English and the opportunity to learn it, and, therefore, had limited choice in matters of employment. Many also lacked the skills and physical strength required by manual labour in subtropical conditions, such as cane-cutting, timber-felling and track-laying (Ego 1909, No. 36ff.). Not all were as motivated and adaptable, or as linguistically gifted as Modrak, who was undaunted by long hours of hard physical toil and determined to make the best of his situation.

On arrival, Modrak's knowledge of Australia was, even by his own admission, scant. Indeed, the word 'unknown' forms something resembling a leitmotif in the ear-

ly pages. Modrak is able to sum up the extent of his knowledge in one short paragraph on the first page, featuring kangaroos, black swans, boomerangs and platypuses. In this he was by no means untypical. Pashinskii expressed astonishment at how ill-informed many immigrants were (Ego 1909, No. 13, p. 576). Modrak's first chapters convey the outsider's view. Anglo-Saxon ways are foreign to him and at first he has only minimal English; he would work hard to rectify that. Like others who shared his background, he sometimes finds himself treated as a lower form of life:

Характерны отношения ко мне как к иностранцу. Мне дают самую черную работу, а своим – лучше оплачиваемые и более чистые. (Attitudes to me as a foreigner are typical. They give me the dirtiest jobs while the cleaner and better-paid ones go to their own.)

This he reported in his article of 1911 ('M' 1911), though *In the Land of the Kangaroo* does not contain these lines. Another immigrant, Mikhail Gadalov, cites very similar views, asserting that they were widely held:

тут нам преподносят отвратительнейшую работу лопатой и топором или еще какой-либо подобной штукой и утешают минимумом платы и максимумом работы, избирательным правом и прочими непонятными словами. Нет, нам надо не это. (They offer us the most revolting jobs with a shovel or an axe or some similar thing and try to console us with minimum pay and maximum work, the right to vote and other words we don't understand. No, that's not what we need.) (G-lov 1911)

But neither Modrak nor Gadalov numbered among those who wished they had stayed at home.

Modrak's keen eye for novelty and cultural distinctions is evident from the moment of his arrival: the very first Australians he sees in the port of Brisbane are dock workers, who look quite unlike those he has observed in ports *en route* from Japan. Their bearing and behaviour bespeak a self-assurance which he is soon able to relate to the power of their trade union – itself a salient mark of cultural difference. Naturally, he draws comparisons with the world he has recently left. Once ashore, he is struck by the fact that all operations at Pinkenba railway station are managed by a woman. Pashinskii, in earlier life a stationmaster at Verkhneudinsk (now Ulan-Ude) in Buryatia, was similarly bemused on seeing young women doing 'men's work' on the railways but without the distinctive uniforms issued to their male colleagues. At one station Pashinskii noticed that a train was met by a 'молодая девушка блондинка, в белом платье, с распущенными волосами, и с красным флагом в руках' ('a fair young girl in a white dress, with her hair down and a red flag in her hand'). He comments: 'Для наших глаз, привыкших к форме или установленному цвету платья, вид этой девушки показался странным — опереточным.' ('To our eyes, accustomed to uniforms or regulation codes of colour in dress, the sight of that girl seemed strange, like something out of a comic opera.') (Ego 1909, No. 28, p. 1043)

Within weeks of his arrival, Modrak is travelling through south-east Queensland, taking work where he can find it, on farms and sugar mills. Land-clearing for agriculture, then proceeding apace, fills him with awe, expressed in comments which may be at odds with modern sensibilities: the colossal 'scrub fires' (the burning of felled timber) are to him a 'magnificent sight', especially after dark. It has to be remembered that the author is writing in an age when nature and the wild, here represented by Australia's vast forests, were something to be 'tamed'. He notes approvingly on the last page of his narrative that 'Man, mindful of his purpose, is harnessing

nature' (Modrak 1936, 122). Where later observers might see wanton destruction, Modrak in 1910 finds a 'token of Man's triumph over nature' and evidence of a civilising mission crowned with success.

The farms which take the place of the forests, he soon notices, are fundamentally different from those of Poland: Queensland farms exhibit a high degree of specialisation. Whereas a typical homestead in Poland would produce everything necessary to sustain a family, here a farmer would concentrate on a single crop, such as sugar-cane or cereals, or on dairying, and rely on local shops for all his other needs.

At the same time, Modrak is effusive when he reports aspects of nature unfamiliar to newly-arrived Europeans, such as the Great Barrier Reef. (Material added in the second edition, in particular, shows an inquisitive mind seeking scientific explanations.) Again, readers in the twenty-first century, when coral reefs face threats that Modrak could scarcely have imagined, may find some poignancy in this. He admires Australian flora and fauna, though his knowledge of these, as manifested in both the earliest and the concluding chapters, remains superficial. His dubious reference to the 'piercing cry of a pelican', failure to distinguish an albatross from a sea-eagle (see Windle 2025, 19-20), and sighting of 'almond trees' on the Barrier Reef may owe something to travelling companions who were no better informed.

He is impressed by Brisbane's Botanic Gardens, which he visits on his very first day in the city. Two years later, in January 1912, Queensland police records show him employed there as a gardener (QSA; see Windle 2025, 5). This he did while studying at the newly established University of Queensland. Apparently unique among his Russian and Polish immigrant peers, he took advantage of the fact that it offered its academic programmes in the evening as well as during the day. Pashinskii, who also spent some time working at the Botanic Gardens, wrote enthusiastically of the university's 'humane, forward-looking charter' and the benefits of its evening classes to

working people (Ego 1911). Moreover, admission was open to both sexes, at a time when this was not universally the case. These are points which Modrak himself makes in the relevant chapters of his book, adding mention of correspondence courses.

Education *per se* was a matter of great interest to Modrak: the value he placed on it can be seen in his short article in *Novaia zhizn'*, published in November 1911 ('M' 1911) and other writings ('M' 1914, *Izvestiia SRE*; Modrak 1914, *Russkaia shkola*). Many years later it would occupy a prominent place in his book, showing close study of the available statistical sources issued by the Federal and State authorities. He had been a schoolteacher in Poland in early youth, before his banishment to Siberia ended any prospect of further education in his home country. The opportunity offered by the University of Queensland was, therefore, welcome; indeed, it would change the course of his life. His degree in science equipped him for a successful career in wireless telegraphy with great responsibilities in Poland. His parting words express gratitude for that opportunity: 'Poland – my homeland – formed my character and awakened in me the desire to acquire knowledge. Australia permitted me to fulfil that desire' (Modrak 1936, 116; Windle 2025, 27).

In some of his writings, but not in *The Land of the Kangaroo*, Modrak permitted himself some adverse comments on aspects of Australian schooling. Writing as 'M' in an article first published in a Brisbane Russian newspaper ('M' 1911, *Izvestiia SRE*, No. 6), he observed that some prescribed reading matter was 'far below the standard required by modern pedagogy'. Perhaps reflecting British imperial attitudes in Edwardian times, it contained – to his mind – too much material about 'kings, princes and loyal soldiers' and too little about nature. Such schooling aims to rear 'true servants of the powerful of this world' [*sil'nye mira sego*] rather than well-rounded citizens. However, when the same article appeared seven months later, in different form and under the name 'P. Modrak' in a specialist journal in Russia, that

comment was not included (Modrak 1914, *Russkaia shkola*). Nor was it repeated when he came to write *In the Land of the Kangaroo*. Pashinskii expressed similar views, objecting particularly to a surfeit of religious instruction which, he thought, stifled free thought:

Главный ее недостаток заключается в том, что она не менее, если не более клерикальна, чем и в других культурных странах. И здесь не дается простора свободному полету мысли юношества, и здесь умственные запросы молодежи умышленно заглушаются, и здесь юная мысль тщательно закрывается толстой оболочкой из ненужного, давно отжившего свое время, хлама.

(Its main shortcoming lies in the fact that it is no less religious than in other civilised countries, perhaps more so. Here too, young minds are allowed no room to roam free; here too the mental requirements of the young are deliberately stifled; here too the young mind is carefully buried under a thick layer of unnecessary, long-outmoded clutter.) (Ego 1913)

As his book attests, Modrak possessed an appetite and capacity for research, in addition to acute powers of observation. In his spare time he amassed a great deal of information about many aspects of Australian life and compiled much statistical data (without naming sources) to lend authority to his account. The greater part of that research was clearly conducted in Poland in the years after his return. It covers many fields, including some in which he could have little personal experience – history, social legislation, the early explorers, Indigenous life, unions, industrial development – and some figures relate to dates twenty years after his departure from Australia.

Taken as a whole, *In the Land of the Kangaroo* paints a highly favourable picture of Australia. In Modrak's view, the epithet *schastliwaia*, often coupled with *Avstraliia* in Russian writing on the subject at the time (see Windle 2025, 28), is not misplaced; it duly makes its appearance, in its Polish form *szczęśliwa*, in his closing lines. If the southern continent had much to recommend it to prospective immigrants when he first arrived, it has made significant progress in many areas in the four decades to 1947, the year of the second edition. Modrak is not blind to its faults, however, and these receive slightly more emphasis in the later edition, when his homeland and its publishing houses were firmly under Stalinist control.

The two editions of *In the Land of the Kangaroo* (Lwów 1936 and Warsaw 1947) differ in many respects. Modrak revised his statistics in 1947, added two chapters and replaced many photographs. However, the passages translated here underwent only minor revisions. (For example, references to Australia's 'democratic system' were expunged in the second edition, and the paragraphs on the Barrier Reef were revised and expanded.) The translation follows the first edition (1936) but indicates by footnotes those points where revisions were made, and incorporates, in Italics, the single more substantial addition.

In the translation, the use of the present tense in much of the original narrative is somewhat reduced and some apparently inadvertent repetitive phrasing has undergone minor modifications. It is particularly noticeable in the revised edition, where the author strives to convey the ineffable beauty of the Barrier Reef, admitting that words fail him: 'One has to see it for oneself.'

Omissions in the translation are signalled by suspension points in square brackets: [...]. Ellipses without brackets are the author's. All footnotes are the translator's.

TRANSLATED EXCERPTS FROM *W KRAINE KANGURA* (WARSAW, 1936)

Leaving Japan

Having fled from Siberia to Japan, in September 1909 I stayed for a while in Nagasaki. My original intention was to travel from there to the USA, but a book about Australia happened to come my way.

Until then, all I knew about that strange land was that our winter is their summer and that it has black swans and a strange animal called a platypus, which has a bird-like beak, lays eggs and feeds its young on its milk. There are fish that breathe through lungs and gills, and kangaroos bounding over the wild plains carrying their young for a long time in an abdominal pouch; the Indigenous people roam the vast expanses of the continent hunting kangaroos with the aid of a strange implement called a boomerang, which returns to the point from which it is thrown. There are trees which shed their bark instead of their leaves, and ferns there grow like large trees and form whole forests.

By reading that book I learned of the great progress that country had made and of its democratic system,¹ which further awakened my interest.

From that moment the thought of Australia gave me no rest: I yearned to visit that interesting country.

Deciding where to go was no easy matter, since my whole future depended on it. After much hesitation I chose Australia.

When I added up my living expenses, I found that I had just enough funds to afford the cheapest fare to Australia. I bought a ticket on a steamer a few days before it sailed and waited impatiently for the day of departure.

¹ In the 1947 edition, 'and of its democratic system' is edited out.

KEVIN WINDLE

It was mid-November. After the wonderful weather of September and part of October in Nagasaki, it turned colder: often the wind blew and sometimes snow fell. In the bay the rising waves were more frequently capped with white crests, driven by the breeze from the open sea. At last the longed-for day dawned.

On 19 November, in the afternoon a Japanese ferryman conveyed me and one other emigrant to the steamer *Nikko Maru*, which lay at anchor in the bay of Nagasaki. We occupied our berths in a cabin.

The ship slowly made ready to sail. The dock-workers finished loading coal and returned to the city. At last the gong sounded – the signal for accompanying persons to leave the ship. We bade farewell to those emigrants remaining behind. Good wishes followed for a safe journey and success in faraway unknown Australia. A moment later came the mournful, drawn-out wail of the siren and the ship pulled away.

I gazed for a long while at the disappearing port of Nagasaki and its beautiful bay. Gradually the shore lights faded and we were enveloped in the dark of night and the boundless sea. When the last glimmers were gone, it was as if the last link with that shore was broken. I realised that another life, a new life was beginning for me ...

The Siberian taiga and the River Lena, which I had so recently left behind, belonged to a distant past which would never return.

There an irresistible urge to acquire knowledge had arisen, with dreams of freedom pushing me to escape and pointing me towards my longed-for goal.²

I was free. I was travelling to an unknown land where I might make my dreams come true.

Would I be able to?

² The 1947 edition does not include the foregoing two paragraphs.

The ship sails steadily on into the unknown, guided by a seafarer's firm hand. Aided by his compass, he follows a bearing from which he cannot deviate for a moment.

The expanses of the seas are unknown ...

A man's future is unknown ...

Have I chosen the right path in life?

With thoughts such as these I fell asleep.

On the way to Australia

[...] Eight days after leaving Manila the ship reached Thursday Island and cast anchor far out from the shore. We stayed there only a few hours to deliver and collect mail. Nobody left the ship. We were already close to Australia.

Towards evening the ship sailed onwards. The next morning we hove to not far from a beacon on a sand bar; a little later a pilot came out in a cutter to guide us all the way to Brisbane. That is essential because the Great Barrier Reef, which lies along Australia's east coast, presents a danger to shipping; the east coast of Australia is low-lying and the sea is shallow. At low tide we could often see islets to our port side, which disappear under water at high tide.

The Great Barrier Reef begins almost at the latitude of New Guinea and reaches down the Queensland coast for some 2,000 kilometres, ending at almost the 25th parallel.

The question comes to mind unbidden: how did that great work of nature come into being?

In early geological eras, at a time of great cataclysms in the world, Australia's eastern coast with its range of mountains sank lower. At that time Tasmania and New Guinea became separated from Australia. That great process, the sinking of the

earth's crust, now the sea-bed, continues gradually to this day. What were once, in ancient times, towering mountain peaks are now small rocky islets, still rising quite high above the surface of the ocean.

Round those islets, and on the relatively shallow sea floor, in the course of the millennia separating us from ancient times, billions upon billions of coral polyps built reefs of coral, as if to counter the movement of the earth's crust. The earth sinks lower, while the polyps – one generation after another – carry their construction work further. So far, living nature is achieving a triumph. Coral reefs are a true wonder of the world, an indescribable mystery of marvellous beauty. Here we see delightful atolls built by polyps and dotted with palms, almond trees and innumerable specimens of subtropical flora. They are constantly bathed in the rays of eternal sunshine and reflected in the waters of the Pacific, as if admiring their own beauty.

Gazing at the immensity of the action of those polyps, one bows one's head involuntarily before that great work of nature and that incomparable age-old play of colours.

Nothing can compare with the beauty of those reefs. The loveliest flower-gardens in the world are nothing compared to the beauty of their colours and shapes. Countless flocks of seabirds come here to rest or find food, filling the air with a symphony of sound, adding even greater charm to the reefs.

Words will not suffice to describe the great play of colours and the endless symphony of sound in that strange corner of the world. One has to see it for oneself.³

More and more often I checked our position on the map. One day out from Thursday Island, we were at the latitude of Cape York, and as we sailed southwards, on the third day we sighted land: it was Australia.

³ The paragraphs in Italics appear only in the 1947 edition.

That lovely picturesque voyage erased the memory of the Siberian taiga and all I had endured in the course of my flight.

So my journey was at an end. And again the thought nagged at me: what would the near future bring in that unknown country?

Only three days' sailing remained to the port of Brisbane, the capital of the state of Queensland, where I was to land. The ship called at the port of Townsville for a few hours, but again anchored far from land so it was not possible to go ashore. After a few hours we sailed on southward.

From the moment we approached the coast of Australia, large flocks of sea-gulls appeared and from time to time a mighty sea-eagle – an albatross – could be seen on the horizon, soaring in the heavens. Occasionally huge sharks – the tigers of the sea, of which there are many in Australian waters – showed themselves.

First Impressions of Australia

At last the long-awaited day, 12th December, arrived.

We were in Moreton Bay. On the starboard side the low-lying coast gradually took shape, with coastal settlements in the distance. We passed a lighthouse and approached the mouth of the Brisbane River.

Both banks of the river, thickly overgrown with bushes, were so low that at high tide they were flooded. The main channel lay between walls of loosely laid rocks. As the ship advanced up-river, the banks rose higher.

At length I saw in the distance the port of Pinkenba. The ship slowly approached the quayside. The port medical officer came on board to inspect the disembarking passengers. Some dock-workers were waiting on the quay. Most of them were wearing blue trousers, grey woollen short-sleeved shirts and wide-brimmed hats, ideal for protecting their necks against the rays of the subtropical sun. Their faces and arms

were tanned by the sun. They were mostly smoking pipes. They exuded self-assurance and dignity. They set to work very calmly. I noticed at once that different conditions prevailed from those in the ports I had seen so far. As I learned later, those dockers were members of a powerful trade union which covered the whole of Australia. Without them, no ship could be loaded or unloaded. They could put any commodity, coal, for example, on a blacklist, and no port worker would touch it. They worked for only about two days a week, but they worked non-stop and in that time they earned enough to keep them for a whole week.

When we had gone ashore, our luggage was inspected by customs officials, and only after that could we travel on.

I bought a railway ticket from Pinkenba to Brisbane, about twelve kilometres away, and boarded a train, which consisted only of first- and second-class carriages. That seemed to be the first visible sign of a democratically organised country.⁴

A woman was in charge of the station and did everything herself: she sold tickets and went out onto the platform before a train came in and when it left. As we were not allowed to have our luggage in the carriage, I wrote on mine the name of the station to which I was travelling and handed it to the conductor. I was not given any receipt.

After a while the train moved off.

It promised to be a hot December day. There was not even the smallest cloud in the sky and a light breeze was rising from the sea, tempering the fierce rays of the sun. The landscape changed quickly. Herds of cattle grazed in the shade of trees. After a while, small private houses began to appear, built on tall stumps. Within half an hour the suburbs of Brisbane began. By the road we saw cottages with verandas decked with flowers, of three or four rooms or more. Everywhere an air of prosperity

⁴ The foregoing sentence is not included in the 1947 edition.

and order reigned. At the stations passengers hurrying to the capital got in. They were all well dressed. I saw no great distinctions in their attire.

At last the train stopped at Brisbane's central station. I made for the last van, in which the conductor travelled. My luggage was already on the platform. I took it without asking anyone. At the exit from the station I handed my ticket to the ticket-collector. That is the only time one's ticket is checked on Australian railways.

As I left the station I asked a passer-by the way to the Immigration Depot. Seeing that he was dealing with a foreigner, he willingly gave me directions. I walked along the city streets; they were very busy. There were electric trams, private cars and lorries, and some horse-drawn carriages. The window displays in the shops on the main streets were splendidly arranged. I headed for the steam ferry which crosses the river to Kangaroo Point, where the Immigration Depot is situated.

On arrival I showed the stub of my steamer ticket. Nobody asked me for any documents. They simply took my name and allocated a bed in a clean and well-lit dormitory.

The Immigration Depot's function is to be the first point of assistance to immigrants; here support is provided completely free of charge. Those who wish to settle on the land go to the Lands Office, where they are given advice on how to acquire farmland. Those seeking employment are directed to settlements in the state, depending on demand. Every immigrant, moreover, receives a free second-class rail ticket. At every step one sees well-considered, detailed organisation aimed at giving as much aid as possible to future citizens of the country. Nobody waits in vain. Everybody's problems are resolved without any unnecessary formalities.

And then the bell rang for lunch. I took my place at a table alongside other immigrants. Lunch was three courses: soup, a meat dish, and pudding.

KEVIN WINDLE

After supper, consisting of lamb, tea with bread and butter and jam, I went to the local botanic garden.

The Botanic Garden has been laid out on the left bank of the Brisbane River. I followed its central avenue, lined with tall trees. At its end was a huge jacaranda, with luxuriant flower beds under its boughs. Paved side paths led to pools with bamboos planted round them, and many palm trees could be seen.

The garden looked strangely beautiful on that warm December night, lit by electric light.

Some seventy years ago there was nothing at all here. Today there is a city spreading over several kilometres in width and umpteen kilometres in length, numbering about 300,000 inhabitants. The tramlines extend to the city's limits, and the outer suburbs are linked to the centre by railway lines. A handsome bridge has been built over the river, joining the southern and northern parts of the city. Fine government and private buildings have been erected, as well as wharves and huge warehouses. Ships from all over the world load meat, wool and grain for foreign countries.

I was so stunned by everything I beheld that for a long time I could not fall asleep.

After staying two days at the Immigration Depot, I left for a farm. Before beginning to give effect to my plans, I needed to get to know the country and the language.

On farms

At the Immigration Depot I was given a complimentary second-class rail ticket and a letter of introduction to an official in Landsborough, a railway station seventy kilometres from Brisbane, requesting that I be given assistance.

On arriving, I asked a policeman I chanced upon where I might find the addressee. He answered with a smile that he himself was the addressee. Being accustomed to the Russian police,⁵ I cannot say that this encounter filled me with pleasure, but he was not at all as I imagined. He did not ask me for any papers, because passports and registration papers are unknown in those parts. On learning where I was going, he asked a farmer who was driving that way to take me with him. I thanked him sincerely for arranging matters so agreeably.

At length the farmer set off. From the station to the homestead I was bound for was about eighteen kilometres.

It was a hot day. There wasn't a single cloud in the sky. We advanced slowly uphill. When we had covered a few kilometres, the view before my eyes was this: all the ground was covered in large logs, felled by an axeman's skilled hand. In the distant scrub we could still hear the blows of an axe: a woodcutter was cutting into a tree-trunk. Their method is to cut half-way through the trunk, then attach a heavy log to it, so that its weight brings down the half-cut tree.

That dangerous work is an impressive sight. In Poland in olden times impenetrable forests were cleared for cultivation in the same way.

The felled timber dries in the subtropical sun for a considerable time, before it is set alight. The scrub fires are a magnificent sight. On fine nights a whole sea of fire shoots upwards in tongues of flame, a kind of token of Man's triumph over nature. However, not all the logs are burned completely; the work of destruction, once begun, is taken over by nature itself in the gradual process of decay. When the fire is out, only blackened embers remain. It looks as if nothing could grow there. But only a little rain is needed to transform that wasteland into fertile fields.

⁵ In the 1947 edition: 'Tsarist police'.

KEVIN WINDLE

Further on we pass a paddock for cattle, fenced with barbed wire. About fifty milking cows are grazing, a sign that we are entering a dairying district. The natural conditions are favourable; owing to the warm climate, the cows can graze outside all the year round, day and night. They are taken for milking only in the morning and the evening.

Down the road from the forest comes a large dray laden with three trunks of local oak, hauled by a team of twenty oxen. Crashing sounds also come from that direction as age-old Australian oaks fall under the blows of axes, and the forest gradually disappears. The logs are sawn, then carted to a sawmill beside the railway station.

Thanks to the new sights and the changing landscapes, the time passes imperceptibly and we soon reach the farmstead.

I was assigned a separate weatherboard cottage with a corrugated iron roof. It stood on a rise, almost on the very edge of the forest. When I had unpacked my belongings and arranged things I went outside. Sunset was near. The air was wonderfully clear and the palms and other trees, caressed by the rays of the setting sun, were beautifully outlined against the blue sky. In the distance I could hear the drawn-out laugh of a kookaburra perched atop a tall tree. From the forest came the cries of birds I did not know, and the ceaseless buzzing of insects, all blending in a joyful hymn of life.

The farm I had been assigned belonged to two brothers, German settlers. The elder of the two had arrived in Australia eighteen years previously, without a penny to his name. By sheer hard work in silver and tin mines he had saved a little money, brought out his younger brother and settled on the land. Now he owns a well-managed farm, fifty dairy cattle and a pair of horses.

Next to a temporary cottage a barn had been erected to house the milk churns and the separator. It was a model of good order: the cement floor well washed, the walls whitewashed, and churns and separator kept clean.

The owner confined himself to dairying exclusively, growing only a little maize as feed for his horses. Milking the cows is the farmer's responsibility, and usually he will do no other work. When the milking is done, the milk is put through the separator and the cream delivered to the creamery.

In our homeland, a farmstead produces all of life's essentials; here there is a degree of specialisation. The owner usually produces a single type of product and purchases everything he needs in town. The farm where I was staying stocked up supplies in the settlement six kilometres away, from which they were sent out to order twice a week. Letters and newspapers were delivered by post.

The season of summer rains was upon us, with heavy falls almost every afternoon. They reached their peak on Christmas Eve. Leaden clouds covered the sky and a three-day subtropical downpour set in, accompanied by prolonged peals of thunder. A veil of mist shrouded everything, so that at times one could see no further than 150 metres. Heavy raindrops thudded on the iron roof.

That weather kept me indoors for three whole days. A fierce draught blew through the chinks in the walls. It was cold. To cap it all I caught a cold and lay under a blanket; over it lizards skittered, keeping out of the rain. And when the rain was at its heaviest, it even leaked through the roof. There could be no thought of lighting a fire outside to brew tea. The air was so moisture-laden that matches would not light; I had to keep them under my pillow. With some difficulty I collected a little dry kindling, made a fire in the middle of my hut and boiled some water for tea. That was all the hot food or drink I had on my first Christmas Eve in a foreign land.

I was alone ... The world looked hopeless, the future equally so.

After a few days I moved on to another farm close to a little township. The farmer was English. In fact he was only a tenant. He had once worked on sugar plantations and put away a little money, dreaming of buying a plantation of his own, but during the cane-harvesting season he had accidentally cut off his thumb and been forced to turn to dairy farming.

The homestead, with a veranda round it, stood on a rise, with the outbuildings nearby. There was a piano, which the farmer's wife sometimes played. Strict division of labour applied. Everything relating to running the household and bringing up their two children was the province of the farmer's wife. Exemplary order reigned; the children were neatly dressed. The farmer and his assistant saw to the milking, as on the previous farm. They went out to work in woollen shirts, working trousers and hobnailed boots. After work they changed their clothes.

On Sunday I ventured into the scrub to see how the woodcutters lived. They mostly live in tents and do piecework. Such work is extraordinarily hard under the subtropical sun. For the most part they lead solitary lives. They do their own shopping and cook for themselves. For company they have only an alarm-clock to tell the time and sometimes a book or a newspaper. Their life is brightened by the singular beauty of nature and the hope that, given time, 'by and by',⁶ they will save a little money and become farmers. On Saturdays they finish work at noon, put on their weekend best and go into town to do their shopping, buy newspapers and collect mail. They willingly enter into conversation. The usual topic is the weather, since their life depends on it. They normally ask a foreigner how he likes their country, and would be seriously offended if he did not say it was beautiful.

The farmsteads are generally scattered singly over a wide area. Amidst them a little settlement develops, with a shop, a post office and a bakery. The shop plays an

⁶ 'By and by': in English in the original.

immensely important role in country districts and stocks everything a farmer needs: clothing, footwear, tools, food products and the like. As a rule it supplies the whole neighbourhood and makes deliveries to homesteads scattered in the bush.

A high premium is placed on physical work here. It very often happens that a white-collar worker gives up his job in favour of labouring, so that he can earn higher pay.

I was increasingly coming into contact with people and making some progress in English.

After a while I decided to move to the sugar-growing district.

On the Sugar-Cane Plantations

I went north to the town of Bundaberg, the centre of the sugar industry. It is a pretty little town on the River Burnett and has about 10,000 inhabitants. Along both sides of a broad street are shops with fine window displays, and there is a range of well-appointed hotels. The town has a sugar refinery and a port where the sugar is loaded onto ships.

According to the older residents, cane-growing began in about the year 1886. At that time every farm in the district had its own primitive equipment to crush the cane and extract the sugar; there were about thirty such farms. In the course of time, major capital moved into the cane-growing sector. Sugar-mills with modern equipment were built to serve the large plantations. At first, coloured workers, the so-called kanakas, laboured in the cane-fields. Often they were brought in from the islands by underhand methods. Working conditions were very harsh, the hours very long and wages low. In about 1907 a law was passed prohibiting the employment of coloured labour on the plantations.

After looking round the town I struck out along the Burnett towards the sugar plantations. It was already past mid-May. The weather was set fair and not a single cloud could be seen in the sky. The summer heat was over, and it was warm. On the left of the road lay a clear, shimmering stretch of the river and to my right rose scrub-covered hills, from which came the occasional laugh of a kookaburra or the cries of multi-coloured parrots. Along the way from time to time I met jobless men setting out to find work.

All at once, after a dozen or more kilometres, a view of huge sugar-cane plantations opened up before my eyes. The sturdy stalks were up to thirty millimetres in diameter and one-and-a-half to two metres tall. Several stalks rise from a single root, forming almost impenetrable thickets. It was the season when the cane ripens.

A little further on I saw a narrow-gauge railway line which conveys the cane to the mill. Following that line for several kilometres I reached the mill itself, a huge building with a corrugated iron roof. At its entrance a mechanical rake has been erected to sweep the cane off the wagons. During the harvest season the cane falls without interruption onto a conveyor belt about two metres wide and is fed day and night, in an endless stream, into a massive press. There it is caught by metal rollers and crushed to extract the juice. That is the first pressing. The crushed pulp falls onto another conveyor belt and is fed into another press, from which almost dry pulp emerges. [...]

The mill has its own electricity and water supplies, as well as a special railway siding. Like other mills among the cane-fields, it produces only brown sugar, which is delivered in that form to the central refinery in Bundaberg. Only there is it processed further, into white sugar and syrup.

The plantations often have hutments for the workers, with camp beds. The hutments include ablution facilities and sometimes showers. All workers must have

their own bedding. There is a kitchen, a cook and a canteen, where they can eat at reasonable prices. The diet consists of meat, white bread, jam and syrup.

After work on Saturdays the workers put on their best clothes and go out for a stroll or into the nearest town.

After visiting the mill I went on my way. I saw none of our [i.e. Polish] cereal crops. Instead the land is entirely covered by sugar cane. Specialisation has reached the point that sometimes a plantation even provides fodder for horses. Beyond the cane-fields the scrub stretches away. Axe-blows ring out where it is being cleared to make way for more sugar cane. A little further on, where felled trees have recently been burned, workers are digging shallow holes, planting sugar-cane stalks in them and packing the soil round them. That is the way the cane is planted.

Among the bushmen

I found a companion and headed further northwards. We travelled mostly at night, since it was June and the nights were cold. We rested and slept during the day. As the weather was splendid we unrolled our swags in the bush and slept under the stars. We woke towards evening and brewed tea on a campfire.

Night-time in the bush is filled with charm: a clear sky sprinkled with stars and the Southern Cross gleaming majestically among them. An overwhelming silence reigns. It is as if the earth and the scrub were fast asleep. Only occasionally is the silence broken by the sound of a distant bell, from cows grazing somewhere in a meadow. Then comes the piercing cry of a pelican, sounding like the shriek of a dying animal and causing an involuntary shudder.⁷ Then dead silence returns and lasts until

⁷ 'Piercing cry ...': this description ill accords with the rarely heard vocalisations of the Australian Pelican, more usually described as 'gruff croaks'. It is possible that Modrak heard a Bush Stone-Curlew (*Burhinus grallarius*).

KEVIN WINDLE

sunrise. After sunrise the bush awakens with its own characteristic life; parrots call and other local birds twitter.

[...]

According to Aboriginal legend, a sorceress dwells in the clouds. Sometimes she comes down to earth, borne on leaves in the breeze. Here beneath a tree she summons the spirits to a council and spins an invisible silken thread to bind more and more people to her. When somebody tied by that thread leaves the bush, he suffers inconsolable longing until he returns to it.

At first it is difficult to get used to the bush. The limitless expanses, the emptiness and absence of people weigh heavily on one, along with the difficulties and dangers of life in the wilderness. However, after a while the vast open spaces begin to exert their pull, so much so that one cannot live without them. That is the call of the bush, which dies only when a man dies.

After spending seven months in the bush, I could feel its boundless expanses drawing me to them.

We walked about 300 kilometres and saw a good deal of the country, but I decided I should return from that excursion. I found a job in a sugar mill, maintaining the machinery. That work allowed me to become familiar with machines of different kinds and awakened an interest in technical matters.

The time I spent in the bush gave me a great deal. I learned about life and made some progress in English. As soon as I returned to a settled way of life I started taking English lessons and revised my mathematics.

General information about Australia

At the beginning of March 1911 I travelled to the capital of the state of Queensland and enrolled in the university. By that means I took my first step towards the goal I had set myself.

The fifteen months spent in the bush had steeled me, but left me with an irresistible yearning for it, which to this day I have not completely shed. [...]

My last seven years in Australia

[...]

On the world stage, events came one after another as in a kaleidoscope. In Russia another revolution broke out. The Russian front collapsed, and then the Western front. Germany was defeated. On 11 November 1918, the independence of Poland was proclaimed. Fighting continued on the eastern borders of the Republic.

The return began of Australian troops from Europe, and it was not possible to take ship to Europe. Only at the beginning of 1921 did normal passenger traffic resume between Australia and Europe.

I decided to return home at once. On 6 May I said goodbye to my students, who were warmly urging me to stay in Australia. Speeches followed and they presented me with a farewell gift. Speaking in reply, I said,

It is difficult to speak when it is necessary to part, perhaps forever. I see it as my duty to leave for my native land, for Poland. I will always hold in my memory the pleasant times I spent with you, and your beautiful country. Poland – my homeland – formed my character and awakened in me the desire to acquire knowledge. Australia permitted me to fulfil that desire.

Firm handshakes followed, with wishes for a good journey and success in my homeland.

[...]

Leaving Australia

In the morning of 8 May I made my way to the SS *Orsova*, a 12,000-ton steamship of the British company Orient Line.

Having found my berth in a cabin I went out on the promenade deck. I could see my friends among the hundreds of people seeing the ship off.⁸

A moment before the ship cast off, hundreds of paper ribbons were thrown from the quay. Everyone grabbed the one from his friend or acquaintance. Then the ship's siren gave a prolonged blast. The ship slowly stirred into motion; the ribbons gradually stretched until they finally snapped – a symbol of parting and farewell. Tears could be seen on more than one face.

Some inexpressible ache gripped my throat. Only now did I realise how I had come to love the country I was leaving. Moments from my struggle with fate and efforts to overcome adversity arose vividly before my eyes.

The ship moved off quickly. The human figures on land faded as we moved further and further away.

Again I was travelling into the unknown. [...]

⁸ Modrak does not mention that when he departed he was accompanied by his wife Evgeniia (née Batmanova) and their daughter, as shown in the shipping records. See Windle 2025, 27.

REFERENCES

- de Strzelecki, P. E. (1845): *Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land*, London.
- Ego [Pashinskii, Anton] (1909): 'V Avstraliu', *Zheleznodorozhnaia zhizn' na Dal'nem Vostoke*, No. 13, p. 576.
- Ego [Pashinskii, Anton] (1909): 'Iz Avstralii', *Zheleznodorozhnaia zhizn' na Dal'nem Vostoke*, No. 28, 1043-1044.
- Ego [Pashinskii, Anton] (1909): 'Iz Avstralii', *Zheleznodorozhnaia zhizn' na Dal'nem Vostoke*, Nos 36-37, pp. 20-21.
- Ego [Pashinskii, Anton] (1911): 'Nedelia v Brisbane', *Man'chzhurskaia gazeta*, 22 September, p. 2.
- Ego [Pashinskii, Anton] (1913): 'Avstraliiskaia devushka', *Novaia zhizn'*, 13 January, pp. 3-4.
- GARF [Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii], f. 124, op. 45, d. 308. Delo o P.G. Modrake i Ia.I. Svarzhenskom, privlekavshimsia k doznaniuu za prinalozhnost' k sotsial-demokraticheskoi partii Korolevstva Pol'shi i Litvy. 12 iunია 1907 – 01 sentiabria 1908.
- G-lov [Gadalov, M.] (1911): 'Russkie emigranty v Avstralii', *Dalekaia okraina*, 21 August, p. 2.
- Korzeliński, Seweryn (1858): *Opis podróży do Australii i pobytu tamże od r. 1852 do 1856*, Cracow: Drukarnia 'Czasu'.
- M [Modrak, Piotr], (1911): 'Pis'ma iz Avstralii', *Novaia zhizn'*, 18 November, No. 301, p. 4.
- M [Modrak, Piotr], (1914): 'O shkolakh Avstralii', *Izvestiia Souiza russkikh emigrantov*, No. 6, 15 January, p. 1.
- Modrak, P. (1914): 'O shkolakh Avstralii', *Russkaia shkola*, July-August, Nos. 7-8.

KEVIN WINDLE

Modrak, Piotr (1936): *W krainie kangura*, first edition, Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.

Modrak, Piotr (1947): *W krainie kangura*, second edition, Warsaw: Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych.

QSA [Queensland State Archives], ITM318868, A/45328, 16 January 1912, General Correspondence, Police; Russians; Sgt Bell to Commissioner of Police.

Windle, Kevin (2025): ‘*In the Land of the Kangaroo*: Piotr Modrak, the “Lucky Country” and the Brisbane Union of Russian Workers’, *Australian Slavonic and East European Studies*, 39, 1-31.

Wiśniowski, Sigurd (1873): *Dziesięć lat w Australii*, Lwów: Gabrynowicz i Schmidt.

REVIEWS

Serhii Plokyh, *David and Goliath: Commentaries on the Russo-Ukrainian War*, Cambridge, MA: Harvard Ukrainian Research Institute, 2025, 272 pages. ISBN 9780674301092

Although many books have been concerned with Russia's aggression against Ukraine, *David and Goliath* is unique in its form and vision. Serhii Plokyh, who has written extensively on the history of Ukraine and provided frequent commentary on the war since Russia's full-scale invasion in 2022, brings together a collection of interviews, articles, reviews and commentaries. This book uniquely documents both how the political and military events unfolded during the first few years of the invasion and how the author's understanding of the war evolved over time. It can, therefore, be approached both as a collection of primary sources for the intellectual history of the war and as a record of the evolving interpretations of the war itself.

The book is structured thematically. Beginning with the chapters on the collapse of the Soviet Union and the return of empire, it addresses key questions concerning the dissolution of the Soviet Union and Ukraine's political development during its three decades of independence. Among other topics, it examines Putin's views of Russia's and Ukraine's history, as well as Lenin's legacy. These first two chapters map the history of Ukraine before 2022 and offer the readers commentary on the complex legacies of the Soviet empire and its continuing dissolution, as Plokyh argues in the interviews published in *New Eastern Europe* in December 2021 (pp. 14-23).

One of the key themes raised in the latter chapter, *The Collapse of the USSR is Still Going on*, concerns the use of the term 'post-Soviet' in relation to Ukraine and the rest of the countries of the former Soviet Union. This term has divided both academic and broader public opinion: some continue to regard it as the most effective

REVIEWS

way of describing and explaining the region, while others reject it entirely and seek more appropriate alternatives. In Ploky's view, however, 'less and less can now be explained by reference to the Soviet legacy alone.' As he further observes, 'What we also see now is that pre-Soviet history is becoming even more important in explaining what is happening in the region and choices being made today' (p. 23).

The third part of the book, *The Big War*, brings together interviews and commentaries on appeasement, the causes of the war, annexation and Prigozhin's coup. Focusing on the international developments preceding Russia's full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022, Ploky draws historical parallels between the appeasement of Nazi Germany before the Second World War and the West's appeasement of Russia. In this context, he refers to Russia's Chechen Wars and Russia's War against Georgia, during which the West largely accepted Russia's claims to exercise authority over regions that had once belonged to the Soviet empire.

Another key theme on which Serhii Ploky has frequently commented is Ukraine's nuclear disarmament and Russia's nuclear terrorism. What initially seemed unimaginable has become both an everyday reality for millions of Ukrainians and a central concern for the Ukrainian government, its international partners, diplomats and international organisations. Although the Chornobyl catastrophe occurred forty years ago, 'the ghosts of Chornobyl' remain still with us, as Ploky acknowledges in the title of one of his articles. Before 2022, it was difficult to imagine that nuclear infrastructure and an exclusion zone could become an epicentre of warfare or a military target, either in Ukraine or elsewhere in the world. Yet Russia's full-scale invasion demonstrated that nuclear terror was not beyond the limits of contemporary warfare. The seizure of the Chornobyl Exclusion Zone by Russian forces in February and March 2022 was only the beginning, followed by the targeting of a nuclear facility in Kharkiv and the occupation of Enerhodar and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

REVIEWS

Having written three books on nuclear history, including works on Chernobyl and the global nuclear arms race, Ploky has developed extensive experience in the field. He is, therefore, ideally positioned to offer authoritative analysis as both a historian and a public intellectual.

The next crucial theme concerns the Western alliance. Beginning with an interview on the state of knowledge about Ukraine in the West before the invasion, with a particular focus on Germany, Ploky unpacks some of the most common persistent misconceptions about Ukraine's languages, history and regional identities. One of the most compelling and self-reflective pieces in this section focuses on the delays in Western military support for Ukraine. This discussion feels particularly urgent as I am finishing writing this review in August 2026, while Ukraine continues to be constantly bombarded by Russian missile attacks and seeks to procure additional air-defence systems from international partners. Hence, the point Ploky made in December 2023 remains highly relevant today: '[W]hat the Western perspective misses is that the key question on the global agenda is the future of the West itself', its security, the future of democracy, and, ultimately, the future of many generations to come (p. 174).

Lastly, the book concludes with the symbolically titled section, *Making Sense of War*. It contains essays that summarise Ploky's reflections on some of most pertinent issues in contemporary public and diplomatic debates: how to approach writing the history of the present; the role of the history of the Second World War in the Russian imperial paradigm; the implications of the war for the decolonisation of the past and for the field of Eastern European Studies; and the role of Ukrainian President Volodymyr Zelensky in representing a multiethnic nation, the so-called 'Zelensky effect' (Olga Onuch and Henry Hale, 2023). In this section Ploky also raises an important question for the field about the need to build bridges between Ukrainian academia and scholars in the West, based on an understanding of their distinct positionalities – the

REVIEWS

former shaped by an anti-colonial paradigm and the latter by a post-colonial one (p. 221). This question remains largely unanswered, as scholars on both sides continue to grapple with this challenge. What is already evident, however, is that the growth of academic cooperation during the war has resulted in many fruitful projects and stimulated a greater exchange of ideas that was not present in the previous thirty years. At the same time, it has also brought to the surface troubling issues concerning unethical research practices, the persistence of Russocentric paradigms, and the limits of expertise in public commentary.

David and Goliath is essential reading for anyone who follows the course of the Russo-Ukrainian War and the rapid developments both in contemporary warfare and in the field of Soviet and Eastern European Studies. Ultimately, it is a book for those who do not wish to remain merely observers, but who seek to understand the course, causes and broader significance of the largest war in Europe today.

Iryna Skubii

University of Melbourne

Nathan Cohen, *Yiddish Transformed: Reading Habits in the Russian Empire, 1860-1914*, Rebecca Wolpe (trans.), New York, NY: Berghahn Books, 2023, xvi + 415 pp. ISBN 978-1-80073-966-6.

The main body of this book is structured in six sections: an Introduction, followed by five chapters providing different vectors on the Yiddish language and literature over the period in question. This is book-ended by a Preface and a brief Conclusion.

REVIEWS

The Introduction is divided into two main sections: ‘The Reader, the Book, and the Library’ and ‘Developing Changes’. The first three subsections of ‘The Reader, the Book, and the Library’, on ‘Reading and Readers’ encapsulate the geopolitical complexities that percolate through this comprehensive work. The geographic spread of this analysis encompasses not only the Russian Empire, but also Congress Poland and, as a subset of both, the Pale of Settlement. The next two subsections are devoted to ‘The Library’ and its agency within the above-mentioned areas. The second section of the Introduction – ‘Developing Changes’ – considers the development of Yiddish over the period, from two perspectives: linguistic (‘From *Zhargon* to Yiddish’) and literary (‘Rising Numbers and Changing Content’).

The five chapters following the Introduction are of two kinds: Chapters 1 (‘Changing Times, New Activities, Fresh Content’), 2 (‘The Fleeting and the Long-Lasting: Newspapers and Books’) and 5 (‘Libraries. Books, and Readers’) are long, covering the ground using broad brushstrokes; Chapters 3 (‘New on the Shelf: Crime and Detective Stories’) and 4 (‘Discovering a New World: The Reading Experience in Yiddish Life Stories’) are smaller and more intensely detailed. The whole work covers not only general developments in writing and reading Yiddish, but also relates these activities to their interaction with the surrounding regional languages, such as Russian, Ukrainian and Polish, as well as scriptural languages such as Hebrew.

Throughout, the author’s analysis is not only systemic, but also documents the influence of significant people and organisations in the development and legitimisation of Yiddish as a language of record and literature. These actors are variously authors, printers, publishers, censors and cultural organisations. The geographic area referred to above – during the period in question, 1860-1914 – is described as a rich multicultural ecosystem. Detailed endnotes following each chapter are provided, comprising over a quarter of the book’s extent. These include both referential and ex-

REVIEWS

plicatory notes. The book contains a detailed bibliography, but a somewhat attenuated index. However, from the perspective of this reviewer (and perhaps that of the general reader), the main omission is that of a detailed, contextualised glossary of Yiddish and Hebrew terms, especially references to the lesser-known Jewish festivals.

Despite the absence of a glossary, this title opened up a fascinating vista of the development of Yiddish in Eastern Europe. This reviewer was unaware of the fluidity of naming conventions (e.g. Chişinău/Kishinev) in this geographic area and the significance of certain cities as centres of Jewish scholarship and publication in Yiddish (for example, Vilnius/Vilna). Both of these issues were addressed clearly in the book, as well as the changes in boundaries over the period, although perhaps more could have been made cartographically than the sole map of the Pale on page 47.

Despite the depth of scholarship that illuminates this important topic, several issues take the gloss off this work. All of these can be traced to the editing process, which had a number of contributors (p. xvi). For this reader, a significant source of confusion throughout was the lack of clarity of the typographical emphases (whether using punctuation or italicising) distinguishing publishing house from imprint from series from title. Other minor impediments to continuity of reading were some apparently random emboldening (*passim*, for example, p. 65) and the likely misspelling of Irkutsk as 'Irktošk' (p. 194, second paragraph). Whilst minor, these vagaries can interrupt one's focus on this dense work.

However, this reviewer is compelled to agree with the author's statement in the Conclusion: 'The chapters of this book and its sections combine together to paint a nuanced picture that reflects the increasingly multifaceted activities on behalf of the Yiddish language and its culture ...' (p. 372). He rightly characterises Yiddish as 'the dominant language that united five million Jews in that region and their extensive cultural creativity' (p. 373).

REVIEWS

This is an important book that would comfortably sit in the East European and/or Language and Linguistics section of libraries in tertiary institutions.

John Cook
University of Melbourne

Serhii Bilenky, *Laboratory of Modernity: Ukraine between Empire and Nation, 1772-1914*, Montreal and Kingston: McGill – Queen’s University Press, 2023, xxiv + 596 pp. Notes. Bibliography. Index. Maps. Tables. ISBN 9780228017578.

Once treated as an appendix to Russian, Polish, or Habsburg history, nineteenth-century Ukraine now appears as a problem in its own right: a territory divided between empires, inhabited by overlapping communities, and imagined through incompatible political geographies. Serhii Bilenky’s *Laboratory of Modernity* is the first comprehensive English-language synthesis of this long nineteenth century. It invites comparison with Eugen Weber’s *Peasants into Frenchmen*, although that comparison requires qualification. Weber’s book was a pioneering intervention that helped establish a field and a model of state-led nationalisation. Bilenky writes after more than two decades of scholarship that has already dismantled teleological accounts of Ukrainian nationhood. His achievement lies in integrating a fragmented, multilingual historiography into a single account of exceptional range and introducing a metaphor for imperial modernisation in what is now Ukraine – a laboratory.

The book’s three chronological parts move from enlightened absolutism and territorial incorporation, through Romantic nationalism and reform, to industrialisa-

REVIEWS

tion, migration, mass politics, and print. Its central argument is elegant. Imperial modernisation both sustained empires and helped unmake them. Bureaucracies, universities, railways, censuses, schools, industries, and associations were intended to render populations governable; they also generated grievances, networks, and languages of claim-making that escaped imperial control. Ukraine emerged neither as an ancient nation awakening nor merely as a defensive response to repression, but through reform, prohibition, economic change, institutional appropriation, and accident.

Bilenky enters a rich but fragmented field. John-Paul Himka showed how religion, socialism, and village institutions nationalised Galician peasants without making the process automatic while Paul Robert Magocsi supplied a territorial and multiethnic synthesis and insisted on a hierarchy of multiple loyalties rather than one predestined identity.¹ Daniel Beauvois reconstructed the triangle of tsarist officials, Polish landowners, and Ukrainian peasants on the Right Bank, and Johannes Remy restored the agency, organisation, and internal disputes of the Hromadas and the Ukrainian movement.² Faith Hillis showed how a local Little Russian community in Kyiv and the Right Bank helped generate Russian nationalism; Iryna Vushko revealed Habsburg Galicia as an administrative creation whose bureaucratic management produced

¹ John-Paul Himka, *Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century* (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988); Himka, *Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900* (Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1999); Paul Robert Magocsi, *A History of Ukraine: The Land and Its Peoples*, 2nd ed. (Toronto: University of Toronto Press, 2010).

² Daniel Beauvois, *The Noble, the Serf, and the Revizor: The Polish Nobility between Tsarist Imperialism and the Ukrainian Masses, 1831-1863*, trans. Barbara Reising (Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers, 1991); Johannes Remy, *Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia from the 1840s to the 1870s* (Toronto: University of Toronto Press, 2016).

REVIEWS

unintended national consequences.³ Volodymyr Kravchenko recovered Kharkiv and Sloboda Ukraine as sites of provincial identity-making within empire, while Andriy Zayarnyuk brought class, community and everyday social relations into the history of peasant nationalisation. Most recently, Anton Kotenko later traced ‘Ukraine’ as a changing territorial and political promise.⁴

Ultimately, Yaroslav Hrytsak, Oleksii Tolochko, Serhii Plokhy, Kravchenko and others had already encouraged historians to treat Ukraine not as a timeless national container, but as a historical problem whose meanings changed across periods and political settings.⁵ The contingency of nineteenth-century identities, the coexistence of several loyalties, and the entanglement of imperial and national projects are, therefore, not discoveries unique to *Laboratory of Modernity*. It is not a Weber-like historiographical year zero.⁶ It is, rather, a landmark of consolidation: the first work to make

³ Faith Hillis, *Children of Rus’: Right-Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013); Iryna Vushko, *The Politics of Cultural Retreat: Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867* (New Haven, CT: Yale University Press, 2015).

⁴ Volodymyr Kravchenko, *Kharkov/Kharkiv: Stolitsa Pogranych’ia* [Kharkov/Kharkiv: Capital of the Borderland] (Vilnius: European Humanities University, 2010); Andriy Zayarnyuk, *Framing the Ukrainian Peasantry in Habsburg Galicia, 1846-1914* (Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2013); Anton Kotenko, *The Promise of Ukraine: A Conceptual History of Nineteenth-Century Nationalism* (Oxford: Oxford University Press, 2026).

⁵ Yaroslav Hrytsak, *Narys istorii Ukrainy: Formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XIX–XX stolittia* [An Outline History of Ukraine: The Formation of the Modern Ukrainian Nation in the Nineteenth and Twentieth Centuries] (Kyiv: Heneza, 1996); Aleksei Tolochko, *Kievskaia Rus’ i Malorossiiia v XIX veke* [Kyivan Rus’ and Little Russia in the Nineteenth Century] (Kyiv: Laurus, 2012); Serhii Plokhy, *Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History* (Toronto: University of Toronto Press, 2005); Plokhy, *The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006); Kravchenko, *Kharkov/Kharkiv: Stolitsa Pogranych’ia*.

⁶ Eugen Weber, *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1976).

REVIEWS

many previously dispersed insights operate together across the territories of present-day Ukraine and across political, social, economic, intellectual, cultural and religious history.

Alexei Miller provides the closest and most useful foil. Miller asks why the Romanov state came to perceive Ukrainian national activism as a threat, and his account is shaped largely by ministries, imperial capacities and the view from the centre. Bilenky asks a different question: how imperial officials, intellectuals, ethnographers, clerics, local elites, activists, migrants, workers and peasants gradually produced and revised the possible meanings of 'Ukraine'. The difference is not simply that Miller is teleological whereas Bilenky is not; Miller also insists that outcomes remained uncertain. It is a difference of standpoint and causal emphasis. Bilenky moves beyond a predominantly state-centred perspective and gives much greater weight to local actors, cultural production, everyday institutions, and the unintended consequences of reform. This distinction also complicates Miller's counterfactual suggestion that Ukraine might have become a Brittany or Provence had the Russian Empire possessed greater resources for assimilation. In Bilenky's account, the obstacle was not only inadequate imperial capacity or an unfortunate sequence of policies from the centre. The empire's own uneven modernisation, its dependence on local intermediaries, its confessional and regional pluralism, and the circulation of people and ideas across imperial borders continually reproduced difference. Schools, universities, markets, migration and print did not simply fail to assimilate their subjects; they created new social actors and new reasons to articulate competing identities. A different imperial policy might have altered the balance, but there was no straightforward assimilatory path waiting to be taken.

Bilenky's distinctive contribution is, therefore, architectural. He places Russian-ruled Ukraine, Galicia, Bukovyna and Transcarpathia within one narrative, join-

REVIEWS

ing political thought to sugar, coal, family law, mortality, religious dissent, women's writing, popular books and village schools. His multilingual command is visible throughout. Ukrainians remain central without monopolising the story. Poles, Jews, Russians, Germans, Greeks and others appear as historical actors, rather than as evidence of 'diversity' or as scenery around a national narrative. Ukrainian, Little Russian, Ruthenian, Russian, Polish, Orthodox and local identities overlap without hypocrisy or betrayal.

This refusal of teleology is one of the book's greatest strengths. Bilenky rejects both a triumphal march towards 1917 or 1991 and the Russian imperial narrative in which Ukraine represents an artificial departure from an all-Russian norm. Literacy might nationalise, Russify, or simply help someone leave the village. Galicia became a 'Ukrainian Piedmont', while remaining poor and dominated by Polish elites. Russian-ruled Ukraine industrialised, while its cities often became less Ukrainian. His example of Kharkiv football supporters claiming their city as Ukraine's 'first capital' is ironically sophisticated, once you pose a question: the first capital of which Ukraine?

The book can, consequently, be read alongside Weber, Benedict Anderson and Miroslav Hroch, but it should not simply be elevated to canonical status by analogy. Like Weber, Bilenky follows roads, schools, markets and institutions into the countryside, yet there is no Ukrainian state transforming peasants into citizens. Like Anderson, he shows print making communities imaginable, while demonstrating that print in Ukraine could produce Russian readers as readily as Ukrainian ones. Like Hroch, he follows small circles of scholars and activists towards mobilisation without treating successive phases as inevitable. Ernesto Laclau, however, helps expose a remaining gap. Modernisation explains how new demands and political vocabularies became available, but not fully why 'Ukraine' became capable of linking land, language, edu-

REVIEWS

cation, autonomy and social reform rather than class, religion, locality, Poland or Russia.

One of the book's best examples of institutional irony is St Vladimir University in Kyiv. Founded to weaken Polish influence and consolidate an Orthodox-imperial historical narrative, while using the material base of the Polish lyceum at Kremenets, it later became Taras Shevchenko National University, a symbol of Ukrainian culture. Bilenky does not simply expose one myth and install another. He shows, without judgement, how institutions are renamed, appropriated and made to support rival claims of uninterrupted continuity. The myth-making around Kyiv continues today; Bilenky's achievement is to explain how such narratives work without converting historical explanation into political allegiance.

The book's scale nevertheless creates substantial analytical problems. At nearly six hundred pages, it sometimes proves a point twice, and the abundance of material can obscure the architecture. More fundamentally, 'modernity' is required to explain state rationalisation, emancipation, capitalism, literacy, industrialisation, individualism, nationalism, xenophobia and mass politics. At times it becomes less a causal concept than a capacious label for nearly every contradictory transformation of the period. The laboratory metaphor has a related instability. A laboratory implies a bounded space, an experiment, and an experimenter, whereas Bilenky's strongest chapters demonstrate that no single actor controlled either the process or its outcomes.

The insistence on multiple and fluid loyalties also produces an evidentiary problem. Bilenky is strongest when reconstructing institutions, articulate intermediaries and the production of political and cultural categories. He is less conclusive about their reception by the large 'silent majority', whose national indifference is central to his argument. We see how officials, scholars, activists and publishers formulated competing projects, but less clearly when, why, and for whom any particular vocabu-

REVIEWS

lary became common sense. This is not a minor omission, because it bears directly on the question of why 'Ukraine', rather than class, confession, locality, or an imperial identity, eventually became the nodal point for some constituencies and not for others.

The geographical synthesis also has limits. The title promises Ukraine between empire and nation, but the governing comparison remains overwhelmingly Romanov-Habsburg. Bessarabia appears episodically, rather than as a constitutive borderland, and the Ottoman Empire appears mainly at the time of conquest and colonisation, rather than as a political and social world that helped make southern Ukraine. Where are the Budjak Nogais, Crimean Tatars, Ottoman Muslims and mobile pastoral communities of the northern Black Sea? What happened to those who stayed, adapted, entered Russian categories, or preserved trans-Danubian connections? Does their relative silence arise from illiteracy, from archives created by conquering states, or from sources dispersed across Istanbul, Romanian and Moldovan repositories and St Petersburg? A genuine third imperial axis might have altered the laboratory itself.

How, then, should the book be judged? Many of its central insights were present in the work of Hrytsak, Tolochko, Plokhy, Kravchenko and others. But 'synthesis' need not be a dismissive term. Selecting, testing, connecting and reorganising several multilingual historiographies is itself a major scholarly achievement, especially when the result changes the scale at which a subject can be understood. Bilenky shows that arguments previously developed for Galicia, Kyiv, Kharkiv, the Right Bank, or the imperial centre belong to one trans-imperial history, without reducing those regions to variations of a single national story.

Laboratory of Modernity is, therefore, best understood as a landmark of consolidation rather than a historiographical revolution. It reconceptualises Ukrainian nation-building as an open, uneven process produced by imperial institutions, social transformation, local agency and unintended consequences. Its honesty extends equal-

REVIEWS

ly to imperial domination, Ukrainian participation in empire, and widespread national indifference. It neither prosecutes, nor acquits the past. It shows empires making nations they did not intend, national activists addressing populations who often ignored them, and modernity distributing its rewards unevenly and unfairly. Few books combine such range, impartiality, humour, multilingual erudition and intellectual restraint. Bilenky's does so with remarkable success, even if its importance lies more in bringing a field together than in beginning it anew.

Daria Mattingly
University of Chichester

Didier Dupuy and Volodymyr Dubichynskyi, *Русско-французские лексические параллели. Теоретическое обоснование и словарь / Les parallèles lexicaux russes-français. Fondements théoriques et Dictionnaire*, Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford: Peter Lang, 2025. ISBN 978-3-631-92740-3. 664 pages.

This monograph is a comprehensive study of the lexical relationships between Russian and French, analysed from the perspective of synchronic comparative linguistics. The book consists of two parts. The first part provides an overview of the theoretical foundations of the lexicographical description of lexical parallels (LP), as well as a description of the dictionary of Russian-French LPs – its headword framework, the principles governing the selection of headwords and the structure of a headword entry. The second part comprises the dictionary of Russian-French LPs (1,994 headword entries and 2,316 lexical units), as well as a list of signs, symbols and abbreviations and an index of headwords. This structure of the work ensures a coherent transition

REVIEWS

from theoretical reflections to their practical application; therefore, the monograph can serve both as a methodological study and as a tool of applied lexicography.

The most significant achievement of the monograph is the use of a theoretical-lexicographical model which adequately describes the nature and diversity of cross-linguistic lexical correspondences, i.e. lexical parallels – Russian and French language units that are formally similar (in terms of phonetics), but differ in meaning, or those that are fully or partially semantically congruent (pp. 11-12). The authors treat the phenomenon of lexical parallels as a distinct category of cross-linguistic relations which cannot be reduced to traditionally distinguished phenomena, such as international lexicon, translator's false friends (*faux amis*), cross-linguistic homonyms or paronyms. This perspective makes it possible to systematise previously distinguished types of lexical correlations and propose a more precise classification of them, which constitutes an important step to overcoming the fragmentary nature of earlier approaches to this issue.

The methodological originality of the work also deserves special emphasis. The authors skilfully combine traditional (contrastive and descriptive) methods of lexicographical analysis with the use of contemporary corpus resources, which allows for a sound justification of the selection of material and the manner of construction and presentation of headword entries. The selection of lexical units and their systematisation are based on monolingual and bilingual dictionaries, as well as on text corpora and materials obtained via Internet search engines (p. 45). This approach gives the dictionary material a solid empirical foundation and a high level of academic reliability.

In the theoretical introduction, the authors focus on cross-linguistic lexical relationships as an interdisciplinary phenomenon, encompassing issues not only in lexicography, but also in translation theory, psycholinguistics and language teaching. This

REVIEWS

perspective is crucial in understanding the internal organisation of the lexical systems of Russian and French, as well as the mechanisms of transformation of loanwords, the processes of their adaptation and the likelihood of translation errors in professional practice.

One of the key strengths of the monograph is also the revision and clarification of the terminology relating to the subject-matter of the analysis. In particular, the concept of lexical parallels is treated as a broader and more appropriate term than the established but less precise phrase ‘translator’s false friends’ (p. 42). The concept proposed by the authors allows for a clear distinction between full, partial and false parallels.

An example of a full lexical parallel is the pair *жюру* – *jury* (p. 203), in which the formal and semantic correspondence between the terms in both languages is complete and beyond doubt.

A partial parallel is illustrated by the pair *жилет* – *gilet* (p. 202). The first two meanings of the Russian word *жилет* and the French *gilet* are fully congruent:

1. [korotkaia muzhskaia ili zhenskaia odezhda bez vorotnika i rukavov, nadevaemaia poverkh rubashki ili bluzy: *kostiumnyi zhilet*] / a short garment for men or women, without a collar or sleeves, worn over a shirt or blouse: *suit vest*;
2. [verkhniaia odezhda bez vorotnika i rukavov, prednaznachennaia dlia zashchity ili avariyno-spasatel’nykh tselei: *bronevoi zhilet*, *spasatel’nyi zhilet*, *signal’nyi zhilet*] / an outer garment without a collar or sleeves, intended for protective or rescue purposes: *bulletproof vest*, *life vest*, *high-visibility vest*.

At the same time, the French language has additional meanings that do not exist in Russian:

3. [maika]: *un gilet de corps* / T-shirt;
4. [kofta]: *un gilet de laine* / blouse.

REVIEWS

The authors refer to such meanings as *idiosememes* and mark them with a special asterisk symbol in the dictionary.

An example of a false lexical parallel is the pair *минус* – *minus* (p. 338). Despite the formal similarity between these units, there is no semantic correspondence. The Russian word *минус* has three meanings:

1. [*matem. znak dlia oboznacheniiia vychitaniia ili otritsatel'noi velichiny: propustit' minus*] – fr. un moins / *mathem. a mathematical symbol denoting subtraction or a negative value: omit the minus*;
2. [*razg. nedostatok: plusy i minusy globalizatsii*] – fr. un inconvénient; / *coll. a flaw, an unfavourable aspect of a given phenomenon: pluses and minuses of globalisation*;
3. [*razg. nedochet, otsutstvie kogo-, chego-l.: razdat' podarki, a samomu ostat'sia v minuse*] – fr. un manque, un défaut / *coll. a lack of something, a shortage: to hand out gifts and end up in the red*.

The French *minus* (*un pitoyable minus*), despite its formal similarity, means ‘a pathetic or insignificant loser, a failure, a pipsqueak’, which shows no semantic correspondence to the formal Russian equivalents.

Furthermore, the scope of lexical parallels includes categories of cross-linguistic homonyms and paronyms, which makes it possible to describe parallel homonymic and paronymic oppositions in Russian and French.

An interesting example of cross-linguistic homonymy is the following four-part structure of homonyms in Russian and French (two in each language): *TOCT I* / *TOAST I* (‘a short speech of good wishes combined with a proposal to drink a toast’) and *TOCT II* / *TOAST II* (‘a toasted slice of bread’) (p. 519). Within this structure, the following four lexical parallels can be identified:

- *TOCT I* – *TOAST I* (full parallel)

REVIEWS

- TOCT I – TOAST II (false parallel)
- TOCT II – TOAST I (false parallel)
- TOCT II – TOAST II (full parallel)

The authors of the monograph define paronyms as words within a single language that are formally similar, but differ in meaning (p. 26). Building on the theory of lexical parallels and assuming that paronymy – like homonymy – constitutes an intralinguistic lexical-semantic category, the authors formulate criteria for cross-linguistic paronymy. It encompasses at least four-part structures of paronyms in the two languages being compared, which, owing to their formal similarity, may evoke false semantic associations and thus lead to the mistaken identification of terms with different meanings (p. 26).

An example of a four-part structure of cross-linguistic paronyms is the following set of two Russian paronyms: МОДЕЛИСТ // МОДЕЛЬЕР and two French paronyms: MODÉLISTE // MODELEUR (pp. 341-342):

МОДЕЛИСТ, -а, м	MODÉLISTE, m/f
человек, занимающийся изготовлением моделей или макетов: <i>союз моделистов железных дорог,</i> <i>моделист-конструктор</i> / a person en- gaged in the manufacture of models: <i>railway model makers' association, mod- el maker and designer</i>	1. = МОДЕЛИСТ
	2 = МОДЕЛЬЕР 1

REVIEWS

МОДЕЛЬЕР, -а, м	△ MODELEUR, m
1. специалист в сфере создания одежды (от разработки до процесса пошива): <i>художник-модельер, модельер-конструктор</i> / a specialist in the field of clothing creation (from concept to sewing): <i>pattern maker</i>	модельщик [<i>model'shchik</i>]: <i>un mod- eleur-mouleur</i> / moulder: (meaning an employee of an industrial plant where moulding tools are manufactured) <i>mouldmaker</i>
2*. кутюрье: <i>ведущие модельеры страны</i> / fashion designer: <i>the country's leading designers</i> – <i>un grand couturier</i> / a famous fashion designer	

In the example above, the possible lexical parallels can be presented as follows:

- МОДЕЛИСТ – MODÉLISTE (partial parallel)
- МОДЕЛИСТ – MODELEUR (false parallel)
- МОДЕЛЬЕР – MODÉLISTE (partial parallel)
- МОДЕЛЬЕР – MODELEUR (false parallel)

This diversity and nuancing of semantic relationships represents a significant contribution to the theory of cross-linguistic lexical typology and increases the practical value of the dictionary for a wide range of users, including translators, teachers and researchers.

The dictionary section of the monograph, conceptually structured around the theoretical framework, introduces innovative standards for the description of lexical parallels. The proposed models for headword entries include semantic and grammatical descriptions, an indication of usage contexts, as well as the specification of stylistic

REVIEWS

tic, territorial and functional registers, which is crucial for preventing linguistic interference in translation and foreign language teaching. This approach fully meets the contemporary requirements of user-oriented practical and academic lexicography.

To sum up, the monograph *Russko-frantsuzskie leksicheskie paralleli / Les parallèles lexicaux russes-français* is a significant scholarly achievement. It combines rigorous theory with clearly structured lexicographical practice, broadening the horizons of research in the field of interlingual lexicography and providing a tool for the further development of the comparative analysis and description of Russian and French.

Michał Kozdra
University of Warsaw

Natalia Romik, *Architecture of Memory: Exploring (post-)Jewish spaces in Eastern Europe*, London, UK: UCL Press, 2025. xviii + 270 pp. ISBN 978-1-80008-895-5.

This book is a complex amalgam of theory and practice: interesting and absorbing, yet challenging. Its focus is on a recognition and acknowledgement of the built environment previously devoted to Jewish life and religious practice in Eastern Europe. The area of focus is centred on the Pale of Settlement, covering parts of Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine. The text consists of six chapters, each firmly anchoring conceptual framework(s) to historical and current practice. These numbered chapters are bounded by an Introduction and Conclusion.

For its theoretical and methodological bases, this book relies heavily on post-modern theorists; Baudrillard, Deleuze & Guattari, Derrida, and Foucault, for exam-

REVIEWS

ple. These philosophers are complemented by other twentieth and twenty-first century thinkers, such as Walter Benjamin, Umberto Eco, Julia Kristeva, Jacques Lacan and Slavoj Žižek. All these theoretical bases are funnelled through an artistic and architectural lens to explicate the ‘present absence’ of the previous Jewish inhabitants of *shtetls* (small market towns in pre-Holocaust Eastern Europe with a substantial, often majority, Jewish population). The text is lavishly punctuated by 226 figures and illustrations; their inclusion, in part, determines the square format, laid out in two columns. This layout allows generous white space to the left of the columns (towards the spine on rectos, and the foredge on versos). This space is used to accommodate captions, which are sometimes quite detailed.

As an aside, this reviewer appreciates the typographic design problems encountered in order to produce an elegant volume accommodating a wide range of illustrations and figures. However, a doubtless unintended consequence of the double column format has been the lack of clarity when long direct quotations occur, such as that on p. 237. The only cues that the reader is moving from Romik’s text to that of another author is a colon followed by a line space, both of which one’s eye easily skips. Unfortunately, there are a substantial number of these quotations throughout the book. In addition, because specialist terminology abounds, especially as regards the built environment associated with Ashkenazic Judaism, it is a great pity that this title lacks a comprehensive glossary.

The six numbered chapters (*The Shtetl*, *Nomadism*, *Walking*, *Mirrors*, *Archives* and *Embedment*) all feature one, or more, theoretical lenses through which to view the ‘present absence’ of Jewish life in these small settlements. These lenses are made concrete through the various tools (designed and constructed primarily by the author) that are used to expose the substrate of the Jewish-built environment in the geographical area covered in this book.

REVIEWS

An example of this approach is contained in Chapter 2: *Nomadism*. Romik makes a good fist of her attempt to develop the complex task of assembling ‘a theoretical apparatus of nomadism’ (p. 58). Her application of nomadism to architecture involves ‘mobile projects that ... serve an ambiguous double function of being simultaneously a “relayer” and “resistor” of social and political transformations’ (p. 63). Such a project is the tool named the ‘Nomadic Shtetl Archive’, which the author characterises as her ‘helper’, or *shamash* in Hebrew (p. 7). This is a specially constructed trailer, designed to facilitate an explicit contrast between the built environment when Jews were present in *shtetls*, and the current environment, where they are conspicuously absent.

Romik explores both the historical and religious antecedents of this tool, including the Ark of the Covenant and the ancient Greek *helepolis*, or ‘taker of cities’ (p. 66), as well as a modern precursor, the British *Folk Float* of 2007 (p. 72). This is theoretically underpinned by Deleuze & Guattari’s concept of nomadism as a relational construct, mutating and transforming, ‘never controllable by the centralised powers, destabilising the state apparatus’ (p. 67), and ‘unmaking settled hierarchies’ (p. 64). The author articulates the actual design and construction of the ‘Nomadic Shtetl Archive’ (pp. 53 ff) illustrated by preliminary sketches (p. 54), through construction (p. 56) to the final surfacing with mirrors that reflect the contemporary built environment (pp. 57, 59) in contrast to archival illustrations of earlier façades produced for current onlookers from within the vehicle, where they have been stored. The route from *shtetl* to *shtetl* taken by the ‘Nomadic Shtetl Archive’ (consisting of 10 stops) is mapped on page 88, paralleling the author’s voyage from theoretical and methodological underpinnings through design and construction phases to actualisation through performance. Other chapters follow similar trajectories in the development process.

REVIEWS

For example, Chapter 3: *Walking* performs a similar process with the project's endpoint being a construct characterised as 'Hurdy-Gurdy'. This was a 'small box ... clad from the outside with plastic mirrors ... its interior was painted black [in which] ... another [glass] mirror was installed to create an illusion of emptiness' (pp. 105-106). Drawing on sources such as Jewish hurdy-gurdy players, and British illusionists, this piece of 'white magic' also included a 'sound recorder ... to capture oral history' (p. 106). Like the 'Nomadic Shtetl Archive' the 'Hurdy-Gurdy' was designed 'to reassemble social memory in opposition to the historical policy of the Polish state and wilful amnesia of its citizens' (p. 67). Whilst heavy, it was a portable tool, to be used while walking, reminiscent of 'Jewish peddlers, diasporic pilgrimages and the Wandering Jew' (p. 121).

The same process is mimicked in Chapter 4: *Mirrors*, where the endpoint is a tool called JAD, taking the form of a large pointing hand on castors, covered in mirrors and containing storage drawers. Its name is based on the Hebrew word *yad* (p. 137), designating a liturgical tool, a small pointer ending with miniature hand that is used to follow the text on a Torah scroll. As such, it is explicitly interventionist, being intended as both 'an activist instrument and an exhibitable installation' (p. 140). As with the other tools, JAD appeared at a number of sites. Romik draws on a number of artistic precursors whose oeuvre included a focus on mirrors including Caravaggio, Magritte and Amish Kapoor. The chapter concludes with a brief exploration of what the author characterises as 'spectral reflections' (p. 167).

Chapters 5 and 6: *Archives* and *Embedment* deal respectively with the raw material of recollection and the concrete situation of those archives. The raw materials that are dealt with in detail are *pinkas* (a traditional Jewish community record book used by Jewish communities to chronicle rules, taxes, minutes and local events) and *yizkor-buch* (a memorial book documenting solemn Jewish memorial prayers dedicat-

REVIEWS

ed to remembering deceased parents, relatives and friends). In addition to photos, other documents and drawings, these specific records are ‘not only sources of architectural knowledge, but also offer a way to understand the specific sociocultural constellation of *shtetls*’ (p. 187), often including ‘memory maps’. The concrete situation of these architectural interventions focuses on ‘the transition between the liquid flows of [the author’s] nomadic interventions and [her] more stabilised design processes’ (p. 203). Starting with more modest precursors, Romik focuses on her designs and visualisations for the re-purposing of an Upper Silesian Pre-Burial house (a *beit tahara* in Hebrew) as an exhibition space. Another project was the revitalising of the Wojsławice synagogue as a cultural centre. It appears that the transition from liquid mobile projects like ‘Hurdy-Gurdy’ to ‘solid architectural investments’ (p. 229) such as the re-purposings itemised immediately above were incompletely actualised at time of publication.

The book’s last chapter: *Conclusion* has the aim, in part, of redressing the expropriation of Jewish residents in Poland by creating ‘paths of memory and reconciliation ... [by] reclaiming Jewish social and architectural memory’ (p.232). The three headline projects (*The Nomadic Shtetl Archive*, *JAD* and *Hurdy-Gurdy*) are designed to address ‘a gap in architectural discourse ... [caused by] neglect ... amplified by ... wilful ignorance to the problems facing (post-)Jewish towns’ (p. 233). Romik makes an interesting point about extending her methodology, possibly to Israel: ‘The “present absence” of *shtetls* is also overwritten there by the “present absence” of Arabs who have been expelled from Israel, an exodus that began with *al-Nakbah* in 1948’ (p. 234). She tellingly observes: ‘It is a problem that haunts me’ (p. 234).

The author’s conclusion could best be summed up as ‘these architectural pieces provide not only direct evidence of past events but also shape current urban reality’

REVIEWS

(p. 237). This book is a sensitive treatment of the built environment in Eastern Europe and would be equally at home in architecture, history or sociology libraries.

In summary, this is a complex yet rewarding book which should find a place in any library that embraces the *shtetl* and its architecture.

John Cook
University of Melbourne

Leo Tolstoy, *Writings for Young Children*, Translated from Russian and edited by Michael R. Katz, Boston, MA: Cherry Orchard Books, 2025, xxx + 222 pp. ISBN 9798887198316 (hardback).

The title *Writings for Young Children* offers a collection of short stories by Leo Tolstoy, translated from Russian by Michael R. Katz, alongside Linda Torresin's discussion of Tolstoy's pedagogy in her essay 'Not only a Writer, but also an Educator: Leo Tolstoy, Children, and Pedagogical Stories'.

Being the first such volume which encompasses both Tolstoy's stories for young children and the writer's philosophy behind them, its significance is underlined by the author's authority as a world-known Russian classic writer. Whilst Tolstoy's name may well be the initial point of attraction, what makes these stories truly remarkable is another facet of Leo Tolstoy that the reader gets to appreciate – namely, his passion for children's education.

As Torresin points out in the Introduction, Tolstoy 'often ranked his work on [pedagogy] above his literary achievements' (p. vii), which accounts for the discus-

REVIEWS

sion of the background principles and the origins of Tolstoy's pedagogy, aimed at better understanding of the current collection of stories. Torresin explores in depth the impact of humanistic approaches (Democritus, Socrates, Confucius, Hegel and others), philosophers (Kant and Rousseau) and educators (Pestalozzi and Froebel) on Tolstoy's educational proposals and beliefs. The depth and volume of Torresin's research on the topic provide a solid introduction to the pedagogical stories by analysing Tolstoy's philosophy of education.

The next part of the Introduction provides a valuable discussion of Tolstoy's original *ABC Book (Azbuka)* and *Russian Books for Reading (Russkie knigi dlia chteniia)*. The former was written to 'provide educational material for the intellectual and spiritual growth of Russian children' (p. xvii) and, as such, reflected Tolstoy's three key assumptions: the importance of overall education, the role of a teaching method, and 'the introduction of a moral dimension to children's reading' (p. xviii). *Russian Books for Reading* contain Tolstoy's fables and short stories, which were the writer's original pieces, as well as adaptations and translations from world literature. It is of particular interest that the language of these stories did not come easily to the writer – Tolstoy found it of utmost importance to write in a clear, concise and real language, yet able to deliver the message. Another unique feature at the time is conveying those messages and moral lessons through children's own words and experiences. No wonder that Tolstoy's stories have become a source of *obrazovanie* (comprehensive education) for many generations of primary school children.

In the last sections of her Introduction, Torresin discusses the protagonists, the language, style and content of Tolstoy's stories.

The present collection of stories contains selected writings from the *New ABC Book (Novaya Azbuka)* and four *Russian Books for Reading (Russkie knigi dlia chteniia)*. Besides fables, such as *The Liar*, and true stories, such as *The Pit*, the volume

REVIEWS

includes tales and tales in verse, as well as history pieces, such as *The Founding of Rome*, and discussions educating young readers on natural sciences, such as *Gases*.

The stories, written in the nineteenth century and faithful to Tolstoy's original style, are clear and unambiguous in language and message, and are still part of Russian contemporary ABC books. They will, therefore, appeal to a diverse audience: young and adult readers, students of Russian, and educators alike.

Natalia Batova
University of Melbourne

IN MEMORIAM

MARGARET TRAVERS (29 DECEMBER 1934 – 14 JANUARY 2026)*

Margaret Travers was born in Bairnsdale, Victoria, on 29 December 1934 and spent her early life on a small farm in Gippsland, with her parents Richard and Catherine Travers and two elder sisters, Patricia and Dorothy ('Molly'). Their father, who had trained as an army officer at Duntroon, rejoined the army early in World War II and was posted to New Guinea. When the Japanese invaded New Guinea, he was taken prisoner and soon killed. News of his death would reach the family only long after the war. Margaret, being very young at the time, retained little memory of him.

Margaret's early education took the form of correspondence courses and tutoring by governesses before she followed her sisters to Toorak College, a boarding school in Mt Eliza, near Frankston, Victoria.

At the age of seventeen, Margaret proceeded to the University of Melbourne in 1952, with a Commonwealth Scholarship given to children of servicemen who had died in the war. Having displayed an uncommon flair for languages at school and developed a taste for French and Latin, she elected to study Russian as her major at university, in the department headed by Nina Christesen, who attracted many gifted students to the subject. Margaret took to the study of a new language and literary culture with enthusiasm and graduated with first-class honours at the end of 1955. She was then awarded a research scholarship which took her to the School of Slavonic Studies at London University for postgraduate study. From there she moved to Oxford, where

* This obituary first appeared in the Australian National University Emeritus Faculty's newsletter, April 2026.

OBITUARY

in 1958 she completed a Diploma in Slavonic Studies, acquiring a valuable grounding in the language then known as Serbo-Croat and travelling on the continent during the vacations. Her sister Molly was also a student at Oxford at the time, in a different college. On her return to Melbourne University, Margaret completed the MA she had been preparing during her time in Britain, with a dissertation entitled 'Temporal and Concessive Clauses in the Stories of Anton Chekhov'. The degree was awarded in 1959.

This was followed by a period of employment in the Commonwealth Public Service in Melbourne, where she translated material from Russian sources, and from Indonesian, which she was required to learn, but before long she was back in her academic home as 'assistant editress' at Melbourne University Press. There she quickly developed superlative editorial skills which, with her gift for clear expression, would be much prized later by many colleagues.

In the early 1960s she found her true *métier* when taken on as Lecturer in Russian (part-time at first, full-time later) at Melbourne University, in the department from which she had graduated. She was able to visit the USSR in 1962, taking advantage of the short courses offered in Moscow for foreign teachers of Russian. Through the 1970s and '80s she regularly visited the country.

In late 1967, Margaret was appointed Senior Lecturer in Russian at the Australian National University in Canberra, in the then Department of Russian. She would remain there for the next thirty years, working with, among others, Rosh Ireland, Robert Dessaix (a graduate of the Department) and Reginald de Bray. Her life-long interest in Russian morphology and abiding enthusiasm for her subject was evident in the courses she taught. Among her favourite subjects was the structure of Old Church Slavonic, a field which, it is fair to say, was not the first choice of many students, but Margaret had the ability and the enthusiasm to bring it to life for them. Her devotion

OBITUARY

to her subject and to her students was apparent in all her professional activities. One of her long-term projects was a Russian primer for beginning students, designed to suit the Australian university teaching regime, but this did not eventuate. She did, however, publish on points of Russian grammar and language instruction, reflecting her dedication to helping students master the difficulties of the language. She was also responsible for revising and preparing for publication a guide to verbal aspect in Russian first drafted by Robert Dessaix and much used in the Department. Thanks to Margaret's efforts it was published in 1994 under the title *A Practical Handbook of Russian Aspect*, with valuable exercises added.

Over the years many students benefited from the Russian-speaking weekends initiated by Rosh Ireland and Margaret in the 1970s and usually held in the beautiful surroundings of Kioloa, on the New South Wales coast. Margaret ensured strict observance of the one cardinal rule: only Russian was to be spoken. Her prowess in Russian scrabble will be remembered by many.

On study leave, she kept abreast of developments in language pedagogy in Britain, the USA, Canada and Japan, and travelled widely in the USSR. Much determination was needed to visit far-flung places such as Irkutsk, Bratsk, Novosibirsk, the Baltic republics, Central Asia and the Far-Eastern State University in Vladivostok, all well beyond the reach of most Westerners, but Margaret was never lacking in determination. In 1985 she also attended a Serbian-language course for Slavists in Serbia.

For many years, in the 1980s and '90s, Margaret served as Sub-Dean in the Faculty of Arts, a part-time position which demanded a firm grasp of all degree-rules and associated practices and precedents. She was highly regarded in and beyond the Faculty Office for her mastery of this body of material and for her ready ability to find commonsense solutions to the range of problems that arose as students tried to structure their degrees to align with these rules. In advising students at every stage of their

OBITUARY

studies Margaret was calm, helpful, and kind – with (by contrast with today's world) a touch of formality: she invariably used courtesy titles for everyone who consulted her.

Because of her clear-headed competence in academic administration and her interest in students and their academic progress, Margaret served on numerous Faculty and University committees, including the University Admissions Committee. In the Faculty of Arts, she served as Deputy Dean in 1985 and as Acting Dean in January and May of that same year. She was a member of the governing body of Burgmann College on the ANU campus for a four-year term (1991-1995).

Margaret was also active in professional organisations, holding office in the Australasian Universities Language and Literature Association and the Australian and New Zealand Slavists' Association, of which she was a very efficient Australian Vice-President for a number of years.

Margaret was greatly dismayed when budget cuts affected the humanities, especially language studies, at the ANU, leading to the disestablishment of the major in Russian and hastening her retirement in 1997, when she would have preferred to remain in place. She did, however, remain attached to the University as an Honorary Visiting Fellow and played a central part in restoring Russian as a minor when approval was given to develop an online course in reading Russian. That course ran successfully for many years until an all-skills first-year course was eventually re-established. Margaret would have been heartened by this development, to which she had contributed so much.

In the 1990s Margaret played an important supporting role in preparing the large *Routledge Macedonian-English Dictionary* for eventual publication in 1998. This was a major project initiated by Professor de Bray and taken over after his death by Peter Hill, Sunčica Mirčevska and Kevin Windle. Margaret's editorial proficiency,

OBITUARY

orderly mind, and knowledge of Slavonic philology and South Slav languages were of great benefit in the late stages of preparing a large and complex typescript.

Margaret kept up her interest in the languages in which she had excelled at school. She was an active long-term member of a French conversation group that met every month. In retirement she returned to the study of Latin as well, enrolling in advanced-level courses at the ANU and enjoying classes at Sydney University's Latin Summer School every January.

Much of Margaret's spare time was devoted to flying, which she loved. Having obtained a pilot's licence for light aircraft, she was always happy to take to the air in a Cessna and routinely invited friends and family to fly over Canberra and its environs, with her at the controls. The Canberra Aero Club and the Australian Women Pilots' Association came to be an important part of her life. She was also secretary of the World War 1 Aero-Historians' Society, and pursued research into early Russian aviators and aircraft. Her published articles on the subject and translations of aviation-related material in *Flightpath* (1998), *The '14-'18 Journal* (2001) and *Cross and Cockade* (2005-2006) make fascinating reading. She also participated in 'Fear of Flying' courses, designed to help those who found the experience frightening by explaining the mechanics of powered flight and how aircraft work.

Prior to retirement, Margaret became an accomplished potter. Many of her friends treasure lovingly made kitchen- and tableware which she produced as Christmas and birthday presents. In retirement in Melbourne, she taught a Russian-language course at U3A, applying the rigorous scholarly approach which had distinguished her teaching style at ANU. She was a regular restaurant patron and continued to enjoy concerts, art galleries, films and wine-tastings with friends and family.

Margaret's many friends in Canberra missed her when in 2013 she moved to Melbourne in order to be closer to her family and accommodate increasing impinge-

OBITUARY

ments on her memory, hearing and speech, which gradually curtailed the activities she had previously enjoyed. Her last years were spent in a residential aged-care establishment in Carlton, whose occupants included like-minded former academics and ex-restaurateurs. A team of devoted carers enabled her to continue to ‘travel’ around Melbourne and visit cafés until her death on 14 January 2026.

Besides being a good friend and colleague to many, Margaret was an enduring source of inspiration and encouragement to many students of Russian, just as Nina Christesen had been to her when she began her university studies in 1952. She is survived by her sister Molly, her nieces and nephews and their children.

Kevin Windle and Elizabeth Minchin

(With thanks to Caroline Long, Molly Murison-Travers, Tamsin Travers, Margaret Fisher and Marian Simpson)

Notes on Contributors

Jolanta Brzykcy, PhD, is a researcher at the Institute of Literary Studies of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. Her research interests are mainly in Russian literature of ‘first wave’ emigration, in particular poetry, women’s writing and ego-documents. She is the author of three monographs devoted to the poetry of Ivan Bunin and the aesthetics of Vladislav Khodasevich, as well as numerous scholarly articles on the poetry of Lev Gomolitsky, the works of Galina Kuznetsova, Nina Berberova, and Lidiya Senitskaya, and the diaries of Ivan Bunin, Boris Filippov, and Georgy Efron. ORCID: 0000-0001-9563-0723

Renáta Gregová is an Associate Professor at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia. Her research focuses on comparative phonetics, phonology and language typology. Her monograph *Quantity in Slovak and in English* (2012) and book *The Generative and the Structuralist Approach to the Syllable: A comparative analysis of English and Slovak* (2016) represent significant contributions to the field of comparative phonetics. Additionally, R. Gregová has shared her research at more than 25 international conferences and has written or co-written numerous academic papers and articles. ORCID: 0000-0003-4743-2559, e-mail: renata.gregova@upjs.sk

Tatyana Smykovskaya (PhD) is Associate Professor in the Department of Russian Language and Literature at Blagoveshchensk State Pedagogical University. She is a specialist in the history of 20th-century Russian literature. She is the author of *The National Image of the World in the Prose of V. Belov* (Moscow: FLINTA, 2010, 2016), as well as *The Literature of the Baikal Amur-Railway Labour Camp as an Artistic Phenomenon* (Blagoveshchensk: BGPU, 2023). She is also (along with Irina Nazarova) the author-compiler of *The Anthology of Poetry of BAM* (Blagovesh-

NOTES ON CONTRIBUTORS

chensk: BGPU, 2024) and *'It Happened in 1945 and Stayed Forever'* (Blagoveshchensk, ПРОЛитАМUT, 2025). Tatiana is also the editor of *Svetlana Borzunova, 'Everything Will Return And Take Its Own Place'* (Blagoveshchensk, ПРОЛитАМUT, 2026).

Karina Stempel-Gancarczyk works at the Institute of the Polish Language of the Polish Academy of Sciences in the Department of Borderland Polish. She holds a PhD in the humanities in the field of linguistics and degrees in Polish philology and sociology. Her research interests include language ideologies, sociolinguistic research on displaced persons from Ukraine living in Lower Silesia and on the Polish minority in Romanian Bukovina, as well as issues related to memory studies. She is the author of the monograph *Processes of Language Disappearance: A Case Study of Polish Dialects in Romanian Bukovina*, Warsaw, 2020).

Kevin Windle is an Emeritus Professor in the School of Literature, Languages and Linguistics at the Australian National University. His major publications include *From St Petersburg to Port Jackson: Russian Travellers' Tales of Australia 1807-1912* (co-edited with Elena Govor and Alexander Massov); *A New Rival State: Australia in Tsarist Diplomatic Communications 1857-1917* (co-edited with Alexander Massov and Marina Pollard); and a biography of Alexander Zuzenko. For his translations from various languages he has been awarded several prizes, including the Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) Aurora Borealis Prize for the translation of non-fiction.